

Несколько слов от переводчика.

"Наши дети
Будут жить счастливей нас".

Саша Чёрный

Как это ни парадоксально, но именно тогда, когда появились научные теории о том, как сделать жизнь прекрасной, людям вдруг пришло в голову, что будущее, может статься, вовсе и не станет таким уж радужным. Это было на рубеже XIX и XX веков.

Первым об этом написал великий специалист по будущему Уэллс, создав свои, как сейчас принято выражаться, антиутопии — "Машина времени" и "Когда спящий проснется". А следом за ним и Замятин подверг сомнению социалистическую аксиому о том, что всеобщее равенство приведет ко всеобщему счастью.

Но счастье — в чем оно? Как писала Маргарет Мид, "что для одного — греза, для другого — кошмар". И вот грянул гром: Олдос Хаксли, уже прославившийся насмешками над современниками, нарисовал свою картину будущего — "Счастливый новый мир"; Хаксли изобразил мир, в котором все действительно счастливы, и

первым из утопистов задал скептический вопрос: А что же такое счастье? Роман вышел в те годы, когда люди и на Западе, и на Востоке — по разным причинам — начинали верить, что и вправду "все идет к лучшему в этом лучшем из миров". Хаксли постарался притушить этот оптимизм — он усомнился, что равенство и изобилие суть гарантии счастья, он предупредил, к чему может прийти мир, развиваясь так, как он развивается.

Своим романом Хаксли начал новую литературную эпоху; и, подобно тому, как Хаксли сам многое взял у Достоевского (например, некоторые идеи Великого Инквизитора и Шигалева, доведенные в "счастливом новом мире" до логического конца), так и авторы всех последующих антиутопий, от Орвэлла ("1984") до Бредбери ("451° по Фаренгейту"), могли бы, перефразируя Достоевского, сказать, что все они вышли из "Счастливого нового мира".

Современного читателя может поразить, сколь многое Хаксли сумел предвидеть (например, 2-ю мировую войну, телевидение и массовую обработку общественного мнения), — но дело не только (и не столько) в этом. Необыкновенная популярность романа и в наши дни объясняется и тем, что в нем мы читаем не о будущем, а о

настоящем: каждому ясно, что изображенный писателем мир — с "чувствилищами", "ордами оргий", вседозволенностью и выращиванием детей в инкубаторах — сейчас гораздо ближе к нам, чем в те годы, когда роман Хаксли вышел в свет.

"Счастливый новый мир" каждый год переиздается огромными тиражами. Он переведен на многие языки — но среди этих языков нет русского. Оно и понятно. Не только в СССР, но и по всему миру, от Китая до Америки, левые всех мастей и оттенков пропагандируют современный вариант афоризма "цель оправдывает средства": они уверяют нас, что сегодняшние страдания и жертвы людей должны стать фундаментом всеобщего счастья. Хаксли показывает, что, независимо от средств, и сама цель — тоже гнилая: всеобщее счастье оборачивается всеобщим кошмаром, и глубокая мудрость звучит в словах Дикаря, когда он требует для себя права болеть сифилисом и раком.

Роман Хаксли — фундаментальное философское размышление и предупреждение, в котором сконцентрировалась вся суть социальных и этических идей XX века. Потому-то мы и выбрали этот роман из многих хороших и великих романов современности: он помогает всем — и, может

быть, особенно нам, бывшим и нынешним жителям России, — осмыслить, "откуда мы пришли, кто мы такие и куда мы идем".

Георгий БЕН



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Приземистое серое здание — только тридцать четыре этажа. Над входом - вывеска: "ИНКУБАТОРНО-ЧЕЛОВЕКОВОДЧЕСКИЙ ПИТОМНИК ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛОНДОНА (ИЧП)", а над вывеской — щит с девизом Всемирного Государства: "ОБЩНОСТЬ, ЛИЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ!"

Огромная комната на первом этаже выходила окнами на север. За окнами пылало лето, но в комнате стояла стужа, несмотря на то, что

здесь же генерировалась тропическая жара; и тусклый свет, проникавший сквозь матовые стекла, метался по комнате, лихорадочно пытаясь разыскать человеческую фигуру — хоть чахлого ученого без кровинки в лице и с гусиной кожей, — но наталкивался только на гладкое стекло, никелированный металл и блеклый фарфор лабораторных приборов. Под стать царящему в лаборатории зимнему холоду все в ней было по-зимнему холодным. Бесшумно, как облака морозного пара, двигались сотрудники, и комбинезоны на них были снежно-белого цвета, а перчатки у них на руках — цвета кожи трупа. И — замерзший, мертвый, призрачный свет. Только в желтых 1932.трубках микроскопов холодный луч выхватывал какое-то движение, какую-то жизнь, расплывшуюся на отшлифованных приборных стеклах, как масло, — какие-то жирные прожилки, одна за другой, копошащиеся в бесчисленных микроскопах, рядами уставленных на лабораторных столах.

— А вот здесь, — сказал Директор, отворяя дверь, — помещается Отдел Оплодотворения.

Триста Оплодотворителей сидели, сгорбившись над пробирками. Директор Инкубаторно-Человеководческого Питомника вошел в комнату;

сквозь почти мертвую тишину лишь иногда прорывалось еле слышное дыхание, сопение или приглушенное посвистывание кого-нибудь из сосредоточенных сотрудников. По пятам за Директором двигалась группа студентов — очень молодых, еще совсем зеленых; они поеживались, нервничали и выглядели как-то жалко. У всех у них в руках были блокноты, куда студенты истово записывали все, что изрекал возглавлявший их великий муж, устами которого, без сомнения, глаголила истина. Этим юношам была сегодня предоставлена редкая возможность, выпадавшая на долю одних лишь избранных. Директор ИЧП Центрального Лондона считал своим долгом лично продемонстрировать своим новым студентам все отделы подведомственного ему учреждения.

— Для того, чтобы вы получили общее представление, — объяснял он студентам.

Какое-то общее представление на конкретных примерах они должны были получить — дабы в будущем сознательно делать порученную им работу; однако этому общему представлению следовало быть по возможности конкретным и минимальным, дабы студенты могли стать достойными и счастливыми членами нынешнего нового общества. Ибо, как всем известно, кон-

кретные примеры способствуют укреплению в людях ощущения счастья, а обобщения и разные умствования — это всего лишь неизбежное зло. Основу общества составляют отнюдь не мыслители, но рабочие лесоповала и коллекционеры марок.

— Завтра, — обычно добавлял Директор, улыбаясь студентам со слегка угрожающей доброжелательностью, — завтра вы приступите к серьезной работе. И тогда у вас не будет времени для обобщений. А пока...

Высокий, худой и стройный как тополь Директор вступил в комнату. У него был выпирающий далеко вперед подбородок и довольно крупные зубы, которые он, когда разговаривал, почти не прикрывал своими полными, живописно изогнутыми губами. Стар он был — или молод? Сколько ему могло быть лет — тридцать? пятьдесят? пятьдесят пять? На это было трудно ответить. Но такой вопрос ни у кого и не возникал. В эту эпоху устойчивости, в год 632-й от Р. Ф. никому и в голову бы не пришло спрашивать человека о его возрасте.

— Я хотел бы начать с самого начала, — сказал Директор ИЧП, и наиболее ретивые студенты рьяно зачиркали в своих блокнотах, фиксируя

его намерение — начать с самого начала.

— Вот здесь, — Директор повел рукой, — находится Инкубаторий. — Он открыл одну из дверц, покрытых изоляционным слоем, и студенты увидели бесчисленные ряды лабораторных пробирок. — Недельная норма яиц, — объяснил Директор. — Они хранятся при температуре человеческой крови. А мужские половые клетки, — тут Директор открыл другую дверцу, — приходится хранить не при тридцати семи, а всего при тридцати пяти градусах.

Тут же, не отходя от инкубаторов, Директор прочел студентам краткую лекцию, которую те ретиво законспектировали. Начал он, разумеется, с введения, касающегося хирургического вопроса.

— Донор соглашается подвергнуться операции совершенно добровольно — ради блага Общества, не говоря уже о том, что он получает единовременную премию в размере своей полугодовой заработной платы.

Далее Директор вкратце описал, каким образом удается сохранить удаленный яичник живым и активно развивающимся; указал, в какого рода жидкостях хранятся отделенные и созревшие яйца. А затем, подведя своих подопечных к лабо-

раторным столам, Директор показал им, как из пробирок извлекается жидкость; каким образом содержащиеся в ней яйца обследуются на наличие ненормальных мутаций, пересчитываются и переносятся в сосуд с пористыми стенками; как (и при этом Директор продемонстрировал студентам весь процесс) этот сосуд погружается в резервуар с теплым бульоном, содержащим свободно плавающие сперматозоиды. Оплодотворенные яйца помещаются обратно в инкубатор, в котором альфы и беты выдерживаются достаточно долго — до тех пор, пока полностью не созреют, — тогда как гаммы, дельты и эпсилоны через тридцать шесть часов снова извлекаются из инкубатора, дабы подвергнуться обработке по методу Бокановского — так называемой "бокановскификации".

— Бокановскификация! — многозначительно провозгласил Директор, и студенты подчеркнули это слово у себя в блокнотах.

Одно яйцо, один эмбрион, один взрослый человек — такова обычная эволюция обыкновенного яйца. Но бока- новскифицированное яйцо ведет себя иначе: оно увеличивается в размере, делится, почкуется. От этого яйца может отпочковаться до девяноста шести яиц, каждое из которых

превратится в нормальный, полностью сформировавшийся эмбрион — в полнорослого взрослого индивидуума. Там, где прежде выращивали только одного взрослого индивидуума, теперь выращивается девяносто шесть. Прогресс!

— Итак, не дожидаясь милостей от природы, мы сами улучшаем ее. И на свет рождаются абсолютно идентичные близнецы — но не жалкие двойни и тройни, какие в древности рождались у живородящих женщин, — а по дюжине, по двадцать, по нескольку десятков идентичных близнецов сразу. По нескольку десятков! — повторил Директор и выбросил вперед руку, словно указуя путь прогресса. — По нескольку десятков!

Но тут один из студентов вдруг задал глупый вопрос:

— А в чем же тут прогресс?

— Мой юный друг! — резко сказал Директор, круто повернувшись на каблуках. — Неужели вы не понимаете? Неужели вы не понимаете? — Директор поднял руку, его лицо приняло торжественное выражение. — Бокановскифи- кация — это одно из главных орудий социальной устойчивости!

Орудие социальной устойчивости!

Стандартизированные мужчины и женщины,

производимые абсолютно единообразными партиями. Коллектив рабочих небольшой фабрики, укомплектованной продуктами одно- го-единственного бокановскифицированного яйца.

— Девяносто шесть идентичных близнецов, работающих на девяноста шести идентичных станках! — голос Директора дрожал от восторга. — Осуществлен вековой идеал человечества! Впервые в истории! Общность, личность, устойчивость! — процитировал он девиз Всемирного государства.

— Великие слова! Если бы мы могли бокановскифициро- вать до бесконечности — так сказать, открыть perpetua bokanov- skificatia, — мы смогли бы решить все проблемы на земле. Решить их, произведя на свет сотни и тысячи стандартизированных гамм, одинаковых дельт, тождественных эпсилонов. Произведя на свет миллионы идентичных близнецов. Принцип массового производства был бы наконец применен в биологии.

Поклонившись проходившему мимо светловолосому, румяному молодому человеку, Директор подозвал его:

— Мистер Фостер!

Румяный молодой человек подошел к Дирек-

тору.

— Не можете ли вы нам сказать, каков рекорд производительности одного яичника, мистер Фостер?

— В нашем центре — шестнадцать тысяч двенадцать, — без запинки ответил мистер Фостер; он быстро-быстро сыпал словами, глаза его горели, и было видно, что приводить цифры доставляет ему явное удовольствие. — Шестнадцать тысяч двенадцать — в ста восьмидесяти партиях идентичных близнецов. Но, конечно, в некоторых тропических питомниках удалось достичь более высоких показателей. Например, в Сингапуре из одного яичника получают более шестнадцати с половиной тысяч индивидуумов. А питомник в Момбасе уже достиг уровня в семнадцать тысяч. Но ведь у них есть естественные преимущества. Вы бы только посмотрели, как реагирует на слизистую яичник негритянки! Это же — совсем не то что работать с европейским материалом. Но все- таки, — со смешком добавил мистер Фостер (и в глазах его засверкал огонь творческого соревнования, а подбородок вызывающе напрягся), — все-таки мы их догоним и перегоним! В настоящий момент я работаю над очаровательным яичником одной дельты-минус. Этому яичнику

всего лишь полтора года, а я уже получил из него более двенадцати тысяч семисот детей, которые либо декантированы, либо пока находятся в эмбриональном состоянии. А яичник все еще способен к воспроизведению. Ничего, вы еще увидите: наша возьмет!

— Вот такой трудовой подъем мне нравится! — воскликнул Директор и хлопнул мистера Фостера по плечу.

И они двинулись дальше.

В Отделе Бутылирования стоял негромкий рабочий гул, и повсюду ощущалась деловая обстановка. Из склада органов, находившегося в подвальном помещении, доставлялись наверх на небольших подъемниках плоские дольки брюшины свиноматки, свеженарезанные, нужного размера. Раздавалось жужжание, затем — щелчок! Крышка подъемника откидывалась. Бутылировщику у конвейера оставалось лишь протянуть руку, взять дольку брюшины и опустить ее в колбу.

За Бутылировщиками стояли Матрикуляторы. Процесс продолжался. Из тестовых пробирок одно за другим извлекались яйца, и их помещали в крупные колбы. Затем наступал черед Маркировщиков. С тестовой пробирки на колбу

Маркировщик переносил все данные: сведения о наследственности, дату оплодотворения, бокановскифицированную группу. Более уже не анонимы, но снабженные именами и удостоверениями личности, будущие индивидуумы шеренгой двигались по конвейеру дальше — и сквозь проем в стене медленно исчезали в Отделе Социального Предопределения.

Мистер Фостер рассказал о том, как приблизительно на двухсотом метре проводится определение пола будущих индивидуумов. Объяснил систему маркировки: самцы помечаются буквой "Т", самки — кружком, а те эмбрионы, которым предстоит стать франкмартинами, — черным вопросительным знаком в белом кружке.

— Ибо, разумеется, — сказал мистер Фостер, — в огромном большинстве случаев плодовитость только мешает. Один плодоносный яичник из тысячи двухсот — этого для наших целей было бы более чем достаточно. Однако мы хотим иметь достаточно богатый выбор. И, конечно, очень высокий процент выплаживания. Поэтому мы позволяем нормально развиваться довольно большому количеству женских эмбрионов — до тридцати процентов. Остальные на протяжении всего остального цикла через каждые двадцать

четыре метра получают дозы мужских половых гормонов. И в итоге, — заключил мистер Фостер, — мы можем с гордостью сказать: вместо того, чтобы рабски копировать природу и подчиняться ее капризам, мы видоизменяем законы природы и создаем в мире гораздо более совершенное общество, являющееся результатом трудов человеческого гения.

Мистер Фостер потер руки. Действительно, человек не удовлетворяется тем, что просто выращивает зарождающиеся эмбрионы — это-то может сделать даже корова.

Мы, кроме того, предопределяем и развиваем. Мы декантируем наших детей в качестве социализированных человеческих существ, будущее которых запрограммировано, — от эпсилонов до альф, от будущих ассенизаторов до будущих...

Он хотел сказать: "будущих властителей мира", но вовремя осекся и вместо этого закончил:

— ... до будущих Директоров ИЧП.

Директор ИЧП, оценив этот тонкий комплимент, довольно улыбнулся.

В этот момент группа проходила мимо триста двадцатого метра на стеллаже номер одиннадцать. Молодой механик из касты бета-минус вертел отверткой в насосе суррогата крови у

проходящей мимо колбы. Несколько уверенных движений — и все было закончено. Механик отступил на шаг, полюбовался делом рук своих и принялся за следующую колбу.

— Он уменьшает количество движений поршня в минуту, — объяснил мистер Фостер. — Насос работает медленнее, и поэтому суррогат крови пропускается сквозь легкие через более длительные интервалы. Следовательно, эмбрион получает меньше кислорода. Нехватка кислорода — это лучшее средство для задержки развития эмбриона.

Мистер Фостер снова потер руки.

— А для чего нужно задерживать развитие эмбриона? — спросил пытливый студент.

— Осел! — неожиданно сказал Директор. — Чем к более низкой касте предопределено принадлежать эмбриону, тем меньше кислорода он получает. Прежде всего нехватка кислорода воздействует на мозг. Затем — на скелет. Если эмбрион получает семьдесят процентов нормального кислородного питания, он станет карликом. Если меньше семидесяти процентов, то — безглазым уродцем. Однако уродцы нам вовсе ни к чему.

Тут в голосе мистера Фостера зазвучали нотки

радости и надежды.

— О! — воскликнул он. — Если бы мы могли открыть способ ускорения периода созревания — какое бы это было благо для Общества! Вспомните, например, про лошадь.

Студенты вспомнили про лошадь.

— Лошадь становится взрослой в шестилетнем возрасте. Слон — в десятилетнем. А человек еще и в тринадцать лет не достигает даже половой зрелости. Разумеется, результатом такого замедленного физического развития является высокое умственное развитие человека.

Действительно, кто бы мог подумать?

— Однако что касается эпсилонов, — справедливо заметил мистер Фостер, — то ведь нам совсем не нужно, чтобы они обладали высоким умственным развитием.

А раз это не нужно, то этого и не происходит. Однако хотя мозг эпсилона вполне созревает до необходимого ему уровня уже к десятилетнему возрасту, тело эпсилона еще восемь лет не способно к тяжелой физической работе. Долгие годы излишней, бессмысленно растрачиваемой незрелости!

Если бы можно было ускорить темпы физического развития человека, скажем, до темпов

физического развития коровы — какая бы это была для Общества экономия сил и средств!

— Колоссальная! — зашептали студенты; энтузиазм мистера Фостера передался и им.

...Горячие туннели чередовались с холодными туннелями. В них эмбрионов вдобавок раздражали рентгеновскими лучами. К моменту декантирования эмбрионам уже будет привит ужас перед холодом. Этим эмбрионам предстояло отправиться в тропики и стать там шахтерами или сталелитейщиками. Впоследствии их мозг подтвердит им благодетельность того, с чем уже раньше свыклось их тело.

— Мы приучаем их получать телесное наслаждение от зноя, — сообщил мистер Фостер. — А позднее наши коллеги наверху внушат им ментальную любовь к зною.

— И в этом, — назидательно сказал Директор, — секрет счастья и добродетели; когда человеку нравится то, что ему приходится делать, он чувствует себя счастливым. На этом основана вся наша система развития и воспитания индивидуумов: мы приучаем их любить то, что является их неизбежным социальным предназначением.

Они прошли мимо одного из отверстий; через него молодая лаборантка впрыскивала что-то

из длинного шприца в содержимое проплывавшей мимо отверстия колбы. Студенты и их гиды остановились и несколько мгновений молча созерцали эту процедуру.

— Отлично, Ленина! — сказал мистер Фостер, когда лаборантка наконец вынула шприц и выпрямилась.

Лаборантка повернулась. Сразу можно было увидеть, что, несмотря на волчанку и на багровый отлив кожи в инфракрасном свете, Ленина необычайно красива.

— Генри! — она улыбнулась мистеру Фостеру, обнажив ряд коралловых зубов.

— Красавица, просто красавица! — пробормотал Директор и, похлопав лаборантку несколько раз по плечу, получил в ответ довольно почтительную улыбку.

— Что вы им впрыскиваете? — спросил мистер Фостер, стараясь говорить как можно более деловым тоном.

— О, обычную противотифозную сыворотку.

— Тем, кому предопределено жить в тропиках, мы начинаем делать предохранительные прививки на сто пятидесятом метре, — объяснил студентам мистер Фостер. — У эмбрионов еще есть жабры. Таким образом, мы делаем рыбам

прививки против будущих человеческих болезней. — Он хмыкнул и обернулся к Ленине. — Так сегодня вечером, на крыше, без десяти пять, как всегда, — сказал он.

— Красавица! — еще раз сказал Директор и, в последний раз шлепнув Ленину, двинулся дальше следом за группой.

— А теперь, — сказал мистер Фостер, — я хочу показать вам кое-что интересное. Это касается развития интеллектуалов из касты альфа-плюс. Альфы-плюс развиваются вот здесь, на стеллаже номер пять. На средней галерее.

Однако Директор поглядел на часы.

— Без десяти три, — сказал он. — Боюсь, у нас нет времени осматривать эмбрионы интеллектуалов. Нам нужно вернуться в ясли до тех пор, пока у детей не окончился послеобеденный тихий час.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мистер Фостер остался в Отделе Декантирования. Директор и студенты вошли в ближайший лифт и поднялись на пятый этаж.

На дверях висела табличка: "ДЕТСКИЕ ЯСЛИ. НЕО- ПАВЛОВИАНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: ВОСПИТАНИЕ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ".

Директор открыл дверь и ввел студентов в огромную, голую комнату, очень светлую, залитую солнцем: вся южная стена представляла собою, от пола до потолка, одно большое окно. Полдюжины сестер, одетых в положенную форму — белые брюки и белые халаты, с волосами, собранными (из антисептических соображений) под белые шапочки, — были заняты тем, что расставляли на полу длинными рядами горшки с розами. Когда Директор вошел, сестры выпрямились и вытянулись по стойке "смирно".

— Положить книги! — отрывисто скомандовал Директор.

В полной тишине сестры повиновались приказу. Между горшками с розами были аккуратно разложены книги, каждая из которых была открыта на странице с какой-то яркой, красочной картинкой — изображением животного, или рыбы, или птицы.

— Ввести детей!

Сестры кинулись вон из комнаты и через минуту-другую вернулись; каждая катила перед собой что-то вроде официантского столика на колесиках, и на каждом столике — на четырех полках, расположенных одна над другой, — сидели восьмимесячные младенцы, похожие друг на друга

как две капли дистиллированной воды (ясно было, что это бокановскифицированная группа) и все (поскольку это были дельты) одетые в хаки.

— Спустите их на пол!

Младенцев сгрузили со столиков.

— Теперь посадите их так, чтобы им были видны цветы и книжки.

Когда младенцев повернули, они сначала, как по команде, разом затихли, а потом поползли к этим пучкам сверкающих красок, к этим манящим, ярким, таким красивым картинкам на белых страницах. Как раз когда младенцы уже подползали, солнце вдруг скрылось за тучей. Розы взметнулись кверху, словно их подхватил внезапный порыв ветра, и броские картинки преисполнились какого-то нового, глубокого значения. Младенцы начали издавать радостные крики или визжать от удовольствия.

Директор торжествующе потер руки.

— Замечательно! — сказал он. — Как будто это было сделано специально.

Наиболее проворные младенцы уже подползали к цели. Крошечные ручки тянулись к цветам и картинкам, дотрагивались до них, хватали и обрывали лепестки у роз, мяли яркоосвещенные листы книг. Директор подождал, пока довольные

дети, погруженные в свое новое занятие, совершенно перестали обращать внимание на что бы то ни было вокруг себя.

Затем он сказал:

— Следите внимательно.

И, подняв руку, дал сигнал.

Старшая Сестра, стоявшая у пульта в другом конце комнаты, нажала кнопку.

Раздался звук страшного взрыва, за ним — еще один. Пронзительно — и с каждым моментом все пронзительнее — завизжала сирена. Бешено забухали колокола.

Перепуганные дети заплакали, закричали; лица их исказились от страха.

— А теперь, — закричал Директор (ибо сирена ревела совершенно оглушительно), — теперь мы завершим урок небольшим электрошоком.

Он снова махнул рукой, и Старшая Сестра нажала другую кнопку. Плач и крики младенцев сразу же совершенно изменились по тону: теперь в них звучало паническое отчаяние, почти безумие, дети вопили в пароксизме ужаса и боли, их тела тряслись, искривлялись, дергались, будто в припадке падучей, — словно в их члены посылали сильные разряды электрического тока какие-то невидимые провода.

— Мы можем наэлектризовать весь пол, — проорал в объяснение Директор. — Но этого пока достаточно.

И он дал Старшей Сестре сигнал отбоя.

Взрывы прекратились, колокольный звон умолк, сирена стала постепенно замирать и наконец совершенно затихла. Младенцы перестали дергаться, и безумные, панические вопли превратились в обыкновенное негромкое хныканье и плач перепуганных детей.

— Ну, а теперь предложите-ка им снова цветы и книжки.

Сестры повиновались. Но при одном лишь приближении к розам, при одном лишь взгляде на симпатичных, весело раскрашенных кошечек, петушков и овечек младенцы в ужасе отшатывались и начинали реветь во весь голос.

— Наблюдайте! — торжествующе произнес Директор. — Наблюдайте. Книги и оглушительный шум, цветы и удары электрическим током — для детей эти пары понятий уже неразрывно связаны. После двухсот повторений этого или ему подобного урока в мозгу детей возникает устойчивая связь, которую уже никакими силами невозможно будет разорвать. То, что соединил человек, природа разъединить не в силах.

— Они вырастут, как выражаются психологи, с "инстинктивным неприятием" к книгам и цветам. Вырастут с устойчивыми условными рефлексами, которые уже невозможно будет преодолеть. На всю свою жизнь они теперь будут ограждены от книг и от ботаники.

Директор повернулся к сестрам:

— Убрать их отсюда!

Все еще хнычущие младенцы-дельты были водружены на столики и увезены прочь, оставив после себя запах простокваши и приятную тишину.

Один студент поднял руку.

— Я понимаю, — сказал он, — почему нельзя позволить, чтобы существа из низших каст тратили нужное Обществу время на чтение книг; к тому же, конечно, всегда есть риск, что они могут вычитать в книгах что-нибудь нежелательное — что-нибудь такое, что может нарушить некоторые из привитых им рефлексов. Однако... так вот, мне непонятно, почему — цветы? Зачем нужно тратить время на то, чтобы прививать дельтам психологическое отвращение к цветам?

Директор ИЧП начал терпеливо объяснять. Если детей приучают к тому, что при виде цветов они начинают кричать и плакать, то в основе

такого воспитательного приема лежит принятая экономическая политика. Еще не так давно (лет сто тому назад или что-то вроде этого) гаммам, дельтам и эпсилонам прививали любовь к цветам — к цветам в особенности и к живой природе вообще. Делалось это для того, чтобы внушить низшим кастам желание ездить за город и таким образом побудить их как можно чаще пользоваться транспортными средствами.

— Ну и что же, они не пользовались транспортными средствами? — спросил студент.

— Еще как пользовались! — ответил Директор ИЧП. — Но это еще не все.

У цветов и пейзажей, объяснил он, есть один существенный недостаток: они бесплатны. Любовь к природе не способствует повышению производительности труда. Поэтому было решено отменить любовь к природе — по крайней мере, у представителей низших каст, — отменить любовь к природе, но о т н ю д ь не тенденцию к использованию транспортных средств. Было признано жизненно важным, чтобы представители низших каст продолжали ездить за город — несмотря на всю свою ненависть к живой природе. Трудность заключалась в том, чтобы найти экономически более здравый стимул к ис-

пользованию транспортных средств, чем простая привязанность к цветам и пейзажам. И такой стимул был найден.

— Мы прививаем массам ненависть к природе, — заключил Директор. — Но в то же время мы прививаем им любовь к спортивным играм на открытом воздухе. И при этом мы следим, чтобы во всех этих спортивных играх применялись сложные приборы и механизмы. Таким образом мы стимулируем расширенное производство и воспроизводство этих механизмов, равно как и транспортных средств. Вот для чего мы и проводим электрошоковые уроки, один из которых был вам сейчас продемонстрирован.

— Понимаю, — сказал студент и умолк, погрузившись в восторженные размышления.

Наступила тишина. Затем, прокашлявшись, Директор сказал:

— Когда-то, давным-давно, когда Наш Форд был еще на земле, существовал один маленький мальчик по имени Рувим Рабинович. Он был ребенком родителей, говоривших на польском языке...

Директор вдруг осекся и обратился к одному из студентов:

— Что такое "польский язык"?

— Один из мертвых языков, — ответил студент.

— Как французский или немецкий, — добавил другой, желая, видимо, блеснуть эрудицией.

— А что такое "родитель"? — спросил Директор ИЧП.

Студенты, уставившись в пол, стали переминаться с ноги на ногу. Некоторые покраснели. Наконец, кто-то, кто был посмелее, поднял руку.

— Люди тогда были... — он замялся, щеки у него зарумянились. — Так вот, они были... как это? ... живородящими.

— Совершенно верно, — сказал Директор, одобрительно кивнув.

— И когда у них декантировались дети...

— Рождались дети, — поправил Директор.

— Так вот, тогда они и становились родителями — то есть, не дети, конечно, а те, другие люди...

Излагая подобные непристойности, студент весь зарделся от стыда.

— Короче говоря, — подытожил Директор, — родителями были отец и мать ребенка. Мать! — повторил он громко. — Нам, цивилизованным людям, неприятно говорить о подобных фактах, я это знаю. Но, к сожалению, большинство исторических фактов на самом деле носят неприятный

характер.

И он продолжал рассказ про Малыша Рувима: однажды вечером, когда Малыш Рувим спал, его родители по оплошности оставили у него в спальне включенный радиоприемник.

— Ибо вы должны помнить, — вставил Директор, — что в ту эпоху массового живородного человекопроизводства дети обычно воспитывались у своих родителей, а не в государственных Воспитательных Центрах.

Пока Малыш Рувим спал в своей кроватке, по радио транслировали передачу из Лондона. И на следующее утро, к вящему изумлению своих родителей, Малыш Рувим, проснувшись, слово в слово повторил по-английски лекцию, которую прочел по радио чудаковатый древний писатель ("один из немногих, — указал Директор, — чьи произведения дошли до нас") по имени Джордж Бернард Шоу; а в своей лекции этот Шоу, как было повсеместно принято в ту эпоху, рассказывал о том, какой он гений. Для Малыша

Рувима эта лекция была, разумеется, чистейшей абракадаброй, и родители, подумав, что их сын сошел с ума, вызвали врача. К счастью, врач владел английским языком и, более того, узнал лекцию, которую он сам накануне вечером тоже

слушал по радио. Врач сразу же оценил научную ценность случившегося события, написал об этом статью и послал ее в медицинский журнал.

— Так был открыт принцип обучения во сне, или гипнопедии, — торжественно заявил Директор и внушительно замолчал.

Принцип был открыт. Но прошло еще много, много лет, прежде чем этот принцип был успешно использован на практике.

— Случай с Малышом Рувимом произошел всего лишь через двадцать три года после того, как на рынке появилась первая модель — модель "Т", — сделанная Нашим Фордом. — Директор нарисовал пальцем букву "Т" у себя на животе, и все студенты незамедлительно скопировали этот жест. — И все же...

Студенты яростно строчили: "Гипнопедия впервые официально применена в 214 году от Р.Ф. Почему не раньше? По двум причинам.

В о-п е р в ы х..."

(Маленький мальчик спит ночью на правом боку, его правая рука вытянута, правая кисть свисает с кровати. Из круглого отверстия в стенке деревянного ящика раздается негромкий голос:

— Нил — это самая длинная река в Африке и вторая по длине река на земном шаре. Хотя Нил

по своей длине уступает Миссисипи с Миссури, он превышает все другие крупные реки по длине своего бассейна, который тянется на протяжении тридцати пяти градусов северной широты...

На следующее утро мальчик завтракает.

— Томми, — спрашивает кто-нибудь, — какая самая длинная река в Африке?

Мальчик смущенно трясет головой.

— Но разве ты не помнишь фразы, которая начинается словами: "Нил — это самая..."?

— Нил-это-самая-длинная-река-в-Африке-и-вторая-по-дли- не-река-на-земном-шаре! — выпаливает Томми. — Хотя- Нил-по-своей-длине...

— Ну, так какая же самая длинная река в Африке?

У Томми — пустые глаза.

— Не знаю.

— Но ведь Нил, Томми...

— Нил-это-самая-длинная-река-в-Африке-и-вторая...

— Ну, так какая же самая длинная река в Африке?

Томми пускается в слезы.

— Не знаю, — всхлипывает он.)

Вот это-то всхлипывание, уточнил Директор, и расхолаживало первых исследователей. В конце

концов, эксперименты по практическому применению гипнопедии совершенно прекратились. И уже не делалось никаких дальнейших попыток обучать детей во сне. И это было правильно. Нельзя изучать науку, не зная, о чем она.

— Однако, если бы они начали с нравственного воспитания, — начал Директор и двинулся к двери, а студенты, бешено чиркая на ходу в блокнотах, последовали за ним и продолжали чиркать, даже стоя в лифте, — если бы они начали с нравственного воспитания, которое никогда, ни при каких условиях не должно быть рациональным...

— Тишина, тишина! — прошептал громкоговоритель, когда Директор и студенты вышли из лифта на четырнадцатом этаже.

— Тишина, тишина! — понеслось из рупоров, установленных через определенные промежутки во всех коридорах; студенты и даже Директор машинально поднялись на цыпочки; конечно, все они были альфы, но ведь и альфы тоже проходят подобающее обучение и воспитание.

— Тишина, тишина!

Сам воздух четырнадцатого этажа был, казалось, пропитан этим категорическим приказом.

Пройдя на цыпочках шагов пятьдесят, Директор

и студенты подошли к двери, которую Директор осторожно открыл. Они вступили в полумрак затемненного дортуара. У стен рядами стояли восемьдесят коек. Слышалось легкое, равномерное дыхание и какое-то непрекращающееся бормотание, как будто где-то далеко негромко переговаривались какие- то слабые голоса.

Сестра, сидевшая на стуле у стены, при появлении Директора вскочила и вытянулась по стойке "смирно".

— Какой сегодня урок? — спросил Директор.

— В течение первых сорока минут у нас были Основы Полового Воспитания, — ответила сестра. — Теперь преподаются Основы Классового Сознания.

Директор медленно прошел вдоль рядов коек. Восемьдесят мальчиков и девочек, раскрасневшихся, спокойных, мерно дышали во сне. Из-под каждой подушки раздавался какой-то шепот. Директор замер у одной из коек и, склонившись, прислушался.

— Говорите, Основы Классового Сознания? Давайте усилим звук через громкоговоритель.

В другом конце комнаты из стены выступал громкоговоритель. Директор подошел к нему и щелкнул выключателем.

— ...сят зеленое, — сказал тихий, но очень отчетливый голос, продолжая начатую раньше фразу, — а дети-дельты одеты в хаки. О нет, я не хочу играть с дельтами! А эпсилоны — они еще хуже! Они такие тупые, что не могут даже научиться читать и писать. А кроме того, они одеты в черное, а это — ужасно неприятный цвет. Я чувствую такое счастье от того, что я — бета.

Наступила пауза. Затем голос заговорил снова.

— Дети-альфы одеты в серое. Им приходится работать гораздо больше, чем нам, потому что они — такие страшно умные. Я очень радуюсь, что я — бета, потому что мне не приходится так тяжело работать. И мне гораздо лучше живется, чем гаммам и дельтам. Гаммы — глупые. Они все носят зеленое, а дети-дельты одеты в хаки. О нет, я не хочу играть с дельтами! А эпсилоны — они еще хуже. Они такие тупые, что не мо...

Директор снова щелкнул выключателем. Голос умолк. Только его бесплотная тень продолжала шептать под восемьюдесятью подушками.

— До тех пор, пока дети не проснутся, им это будет сказано еще сорок или пятьдесят раз. Затем то же самое повторится в четверг, а затем — в воскресенье. По сто двадцать раз три раза в неделю в течение тридцати месяцев. А после этого

начнется более сложный урок.

Розы и электрошок, хаки детей из касты дельта и тошнотворный запах асафетиды будут связаны неразрывной ассоциацией еще до того, как ребенок начнет говорить. Однако воспитание, в котором не используется с л о в о, — такое воспитание всеобъемлюще и потому несовершенно; оно не может приучить ребенка различать вещи более тонкие, более трудноуловимые, не может внушить ему, как он должен вести себя в более сложных случаях. Для этого нужно слово — но только такое слово, в которое не вложено разумного смысла. Короче говоря, нужна гипнопедия.

— Величайшая внушающая и организующая сила всех времен, идеально готовящая человека для жизни в обществе!

Студенты немедленно записали у себя в блокнотах эту истину, которая глаголила устами Директора.

Директор снова щелкнул выключателем.

— ...кие страшно умные, — сказал мягкий, убедительный, неутомимый голос. — Я очень радуюсь, что я — бета, потому...

Это напоминало не столько капающую воду — хотя и вода, как известно, может продолбить прочнейший гранит, — сколько капающий воск,

который залепляет, облекает, обволакивает мягкой коркой то, на что он падает, — до тех пор, пока, в конце-концов, когда эта корка застынет, через нее уже ничто не сможет проникнуть.

— До тех пор, пока разум ребенка не будет целиком состоять из того, что ему внушено, а совокупность того, что ему внушено, не заполнит весь разум ребенка! И не только разум ребенка. Разум взрослого — тоже. Человек будет запрограммирован на всю свою жизнь. Разум, который выносит суждения, и порождает желания, и принимает решения, — он будет действовать под влиянием того, что ему внушено в раннем детстве! — Директор, придя в экстаз, почти кричал. — Внушено Государством! — он с силой ударил кулаком по находящемуся рядом столу. — И отсюда следует вывод...

Какой-то шум у него за спиной заставил его обернуться.

— О Форд! — сказал он совершенно другим тоном. — Я увлекся и разбудил детей!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

А в это самое время снаружи, в саду, у других детей был час рекреации. В теплом свете июньского солнца шестеро или семеро обнаженных

мальчиков и девочек с гиканьем носились по газонам, или играли в мяч, или молча сидели на корточках среди цветущих кустов. Воздух дрожал от стрекотания пчел и вертолетов.

Директор и студенты некоторое время постояли, наблюдая за игрой в Шмеля-Центрифугу. Два десятка детей собрались вокруг цилиндрической башни из хромированной стали. На верхушке башни находился вогнутый диск. Кто-нибудь из детей подбрасывал вверх мяч, стараясь закинуть его на диск. Попав на диск, мяч внутри башни скатывался вниз, падал на быстро вращающийся круг и с силой вышвыривался через одно из отверстий в стенке башни — а детям нужно было поймать мяч.

— Как ни странно, — размышлял вслух Директор, когда они отошли от башни, — как ни странно, но даже в эпоху Нашего Форда в большинстве игр не применялись никакие приборы — разве что один-два мяча да несколько каких- нибудь палок или примитивная сетка. Представьте себе, ведь это была совершенно бесполезная трата времени и энергии: людям позволяли играть в сложные спортивные игры, которые никак не способствовали росту производства и потребления. Чистейшее безумие! В наши дни Правители

нипочем не дадут разрешения на внедрение какой-либо новой спортивной игры, если не будет неопровержимо доказано, что эта игра требует использования по крайней мере такой же аппаратуры, какая применяется в наиболее сложных из ныне существующих игр...

Вдруг Директор прервал свою речь.

— Посмотрите, какие очаровательные дети, — произнес он, указывая пальцем на мальчика и девочку лет семи-восьми, которые с увлеченностью и серьезностью ученых, только что сделавших важное открытие, играли друг с другом в элементарную сексуальную игру.

— Совершенно очаровательные дети! — повторил Директор, и в голосе его послышались сентиментальные нотки.

— Очаровательные, — вежливо отозвались студенты, но в их возгласах не было подобающей искренности ("В конце концов, двое детишек дурачатся на траве — подумаешь, что в этом особенного?")

— Я всегда полагал... — начал было Директор тем же слащавым тоном, но тут его слова прервал громкий вопль.

Из находящихся поодаль кустов вышла сестра, таща за руку маленького мальчика, который

упирался и во весь голос вопил. Следом семенила бойкая девочка, с крайним любопытством взиравшая на мальчика и на сестру.

— В чем дело? — спросил Директор.

Сестра пожала плечами.

— Ничего особенного, — сказала она. — Просто этот мальчик не хочет принимать участия в положенной эротической игре. Я уже за ним это и раньше замечала. А сегодня — снова. Он только что начал плакать...

— Честное слово, — сказала девочка, — я же ему ничего плохого не сделала и не хотела сделать! Честное слово!

— Разумеется, ты ему ничего плохого не сделала, — решительно сказала ей сестра. — А сейчас, — продолжала она, снова поворачиваясь к Директору, — я отведу его к Заместителю Завуча по Психологическим Вопросам. Нужно проверить, нормально ли он развивается психически.

— Совершенно верно, — сказал Директор. — Отведите его к Замзавуча по Психвопросам. А ты, девочка, — добавил он, пока сестра уводила прочь своего отчаянно ревущего подопечного, — как тебя зовут?

— Полли Троцкая.

— Очень красивое имя, — сказал Директор.

— Ну, пойди, побегай — и попробуй поиграть с каким-нибудь другим мальчиком.

Девочка ринулась в кусты и исчезла из виду.

— Маленькая проказница, — сказал Директор, глядя ей вслед; затем он опять повернулся к студентам. — То, что я вам сейчас скажу, — продолжал он, — может показаться невероятным. Но тем, кто не изучил как следует истории, факты прошлого в большинстве своем кажутся совершенно невероятными.

И он поведал студентам ошеломляющую истину. Оказывается, в течение долгих-долгих эпох до Нашего Форда, и даже в течение жизни нескольких поколений после него, эротические игры между детьми считались чем-то совершенно ненормальным (студенты расхохотались) — и не только ненормальным, а попросту безнравственным ("Нет! Не может быть!"),, — и потому такие игры безжалостно подавлялись и запрещались.

На лицах студентов появилось удивленно-недоверчивое выражение. Бедняжки дети! В те варварские эпохи им даже не разрешали забавляться! Просто не верится!

— Даже для взрослых, — продолжал Директор, — даже для взрослых — людей вашего возраста...

— Не может быть!

— Даже для взрослых считались предосудительными такие вещи, как тайный онанизм и гомосексуализм — и все прочее...

— Все?

— Почти все — до тех пор, пока им не исполнялось двадцать лет.

— Двадцать лет? — хором воскликнули студенты, и в их тоне звучало явное недоверие.

— Двадцать лет, — повторил Директор. — Я же сказал: вам это все покажется совершенно невероятным.

— Ну, и к чему это приводило? — спросил один из студентов.

— Это приводило к ужасным результатам, — произнес чей-то глубокий, звучный голос, вклиниваясь в разговор.

Студенты оглянулись. Они и не заметили, как к их группе подошел какой-то незнакомец — человек среднего роста, черноволосый, с крючковатым носом, толстыми ярко-алыми губами и темными, пронизывающими глазами.

— К ужасным результатам! — повторил он.

Директор ИЧП как раз перед тем сел на стальную, покрытую резиной скамейку — такие скамейки были расставлены по всему саду. Но при виде незнакомца он рывком вскочил на ноги,

рванулся вперед и выбросил перед собой руку, широко раскрыв рот в подчеркнуто радостной улыбке.

— Правитель! Какая неожиданная радость! Юноши, о чем вы думаете? Это же — Правитель! Это — Его Фордство, Мустафа Монд!

В четырех тысячах комнат Инкубаторно-Человеководческого Питомника четыре тысячи электрических часов одновременно пробили четыре. Из рупоров прозвучал голос:

— Первая дневная смена свободна. Заступает вторая дневная смена. Первая дневная смена свободна...

В лифте, по пути в переодевалку, Генри Фостер и Заместитель Начальника Отдела Социального Предопределения подчеркнуто повернулись спиной к Бернарду Марксу, сотруднику Психологического Бюро: этим они продемонстрировали свое явное нежелание общаться с человеком, который пользовался неблаговидной репутацией.

В багровом воздухе Эмбрионного Склада все еще раздавался приглушенный гул и скрежет приборов. Одна смена кончает работу, другая смена заступает, вместо одних лиц, тронутых волчанкой, появляются другие — но конвейер неудержимо и неуклонно продолжает двигаться

вперед, неся свой груз будущих мужчин и женщин.

Ленина Краун быстро направилась к двери.

Его Фордство, Мустафа Монд! Глаза студентов чуть ли не выскочили из орбит, чтобы впиться в Правителя. Мустафа Монд! Пожизненный Правитель Западной Европы! Один из Десяти Правителей Мира. Один из Десяти... и вот он запросто сидит здесь, на скамейке, рядом с Директором ИЧП, и он собирается еще посидеть, да, посидеть здесь — и лично побеседовать с ними — и он, он им глаголет истину! Словно Сам Форд глаголет им истину!

Из ближайших кустов выскочили несколько ребятишек; с минуту они расширенными, удивленными глазами смотрели на группу, а потом снова исчезли.

— Все вы помните, — начал Правитель своим необыкновенным, глубоким голосом, — все вы, надеюсь, помните великие и мудрые слова Нашего Форда: "История — это болтовня!" История, — медленно повторил Правитель, — это болтовня...

Он махнул рукой — и, сделав этот простой жест, он словно бы невидимой метелкой смахнул прочь кучку пыли, в которой были Хамураппи,

Урарту и халдеи, смахнул легкую паутину и вместе с ней смахнул Фивы, и Вавилон, и Митилену, и Микены. Легкое движение — вшк, вшк, вшк — и где теперь Одиссей, где Иов, где Юпитер, где Гаутама, где Иисус Христос? Вшк, вшк — и исчезла вся эта античная пыль, которую люди когда-то именовали Афинами и Римом, Иерусалимом и Константинополем. Вшк, вшк — и там, где была когда-то Италия, не осталось решительно ничего. Вшк — и обрушились соборы; вшк, вшк — и исчезли "Король Лир" и "Мысли" Паскаля. Вшк — и нет "Страстей"; вшк — и нет "Реквиема"; вшк — и нет симфоний; вшк...

— Генри, вы сегодня пойдете на чувствилище? — спросил Заместитель Начальника Отдела Социального Предопределения. — Я слышал, новая программа в "Альгамбре" совершенно сногсшибательна. Там есть любовная сцена на ковре из медвежьей шкуры — говорят, это просто великолепно. Репродуцирован каждый волосок медведя. Поразительные тактильные эффекты!

— Вот почему вы не изучали историю, — сказал Правитель. — Но теперь настало время...

Директор ИЧП нервно поглядел на Правителя. Он вспомнил, что давно уже ходят странные слухи, будто бы Правитель хранит у себя в кабинете

запрещенные древние книги. Библию, сборники стихов — и Форд знает, что еще.

Мустафа Монд уловил озабоченный взгляд Директора, и уголки его алых губ иронически изогнулись.

— Ничего, Директор, не беспокойтесь, — сказал он, и в тоне его послышалось скрытое презрение. — Я их не развращу.

Директор ИЧП смутился.

Те, кто чувствуют, что их презирают, правильно сделают, если сами примут презрительный вид. На губах Бернарда Маркса появилась пренебрежительная ухмылка. Да уж, конечно, ни дать ни взять, каждый волосок медведя!

— Пожалуй, стоит туда сходить, — сказал Генри Фостер.

Мустафа Монд наклонился вперед и уставил в студентов палец.

— Просто попробуйте представить себе, — сказал он, и голос его как-то странно задрожал, — просто попробуйте представить себе, что это значит: иметь живородящую мать.

Опять это непристойное слово! Но на этот раз никто из студентов не осмелился даже улыбнуться.

— Попробуйте представить себе, что значит

"жить со своей семьей".

Студенты попытались это себе представить, но совершенно безуспешно.

— А знаете вы, что такое "быть дома"?

Студенты покачали головой.

Из своего мрачного багрового подвала Ленина Краун взлетела на семнадцатый этаж, вышла из лифта, повернула направо, прошла по длинному коридору и, открыв дверь с надписью "Женская комната для переодевания", погрузилась в оглушающий хаос рук, грудей и нижнего белья. В сотнях ванн бурлили и плескались потоки теплой воды. Шипя и жужжа, восемьдесят вибро-вакуумных массажных аппаратов — так называемых виброваков — одновременно разглаживали и мяли гладкую, загорелую кожу восьмидесяти совершенных индивидуумов женского пола. Все говорили одновременно и достаточно громко. А из стереопроигрывателя синтетической музыки извергалось соло супер-кор- нета.

— Привет, Фанни! — сказала Ленина молодой женщине, у которой шкафчик и туалетный столик были рядом со шкафчиком и столиком Ленины.

Фанни работала в Отделе Бутылирования, и ее фамилия тоже была Краун. Но поскольку у

двух миллиардов жителей планеты было только десять тысяч фамилий, это совпадение никому бы не показалось удивительным.

Ленина быстрыми движениями спустила молнии на одежде — рывком вниз на жакетке, двумя рывками вниз на брюках и еще одним рывком вниз на нижнем белье. Не снимая чулок и туфель, она направилась к ванне.

Жить "дома", жить "дома" — в нескольких крошечных, убогих комнатенках, перенаселенных сверх всякой меры: тут же и мужчина, и сварливая женщина, то и дело устраивающая семейные сцены, и куча сопливых мальчишек и девчонок всех возрастов. Ни свободного пространства, ни свежего воздуха; темнота, болезни и зловоние.

(Картина, которую нарисовал Правитель, была столь выразительна, что один из студентов, более чувствительный, чем другие, при одном лишь описании такой "домашней" жизни побледнел и чуть было не потерял сознание.)

Ленина вышла из ванны, досуха вытерлась, взяла длинную эластичную трубку, прикрепленную к стене, приложила конец ее к своей груди и, словно бы собираясь покончить с собой, нажала спусковой крючок. На нее пахнуло теплым воздухом, который обдал ее мелкозернистой

тальковой пудрой. Над раковиной умывальника красовалось восемь кнопок, каждая из которых запускала в действие пульверизатор той или иной марки одеколона или духов. Ленина нажала третью кнопку слева, обдала себя шипром и, неся в руках свои чулки и туфли, проследовала к одному из виброваков.

А "дома" — там было убого и отвратительно как физически, так и психически. Потому что этот "дом" был крысиной дырой, где люди жили, ежеминутно соприкасаясь друг с другом, захлестывая друг друга своими эмоциями. Какая давящая, удушающая теснота! Какие опасные, бесстыдные, безумно близкие отношения между членами одной и той же семьи! Мать маниакально опекала своих детей (ее детей!), опекала их, как кошка опекает котят, — но как кошка, которая умеет говорить, кошка, которая может сказать: "О моя крошка, мое дитятко!" — и повторять это снова и снова: "Дитятко мое, прильни ко мне! О, какие у тебя ручки, какая радость на тебя глядеть! Моя малютка засыпает, засыпает, и в уголке рта у нее — капелька молочка! Мое дитятко засыпает..."

— Да! — сказал Мустафа Монд, наклонив голову. — Есть от чего прийти в ужас.

— Кому ты нынче вечером отдаешься? — спро-

сила Ленина, вернувшись из вибровака, подобная жемчужине, светящейся изнутри и отливающей розовым сиянием.

— Никому, — ответила Фанни.

Ленина удивленно подняла брови.

— Мне в последнее время всегда что-то не по себе, — объяснила Фанни. — Доктор Уэллс посоветовал мне принимать субститут беременности.

— Но, дорогая, тебе же еще только девятнадцать. До двадцати одного года мы не обязаны принимать субститут беременности.

— Знаю, дорогая. Но многие лучше себя чувствуют, если начинают принимать его раньше. Доктор Уэллс говорит, что брюнеткам, у которых широкий таз, полезно начинать принимать субститут беременности уже лет в семнадцать. Так что я уже даже на два года опоздала.

Фанни открыла дверку своего шкафчика и указала на длинный ряд коробочек и флаконов на верхней полке.

— СИРОП "CORPUS LUTEUM", - прочитала вслух Ленина на одном из ярлыков. — ОВАРИН, СВЕЖЕСТЬ ГАРАНТИРОВАНА: НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОСЛЕ 1 АВГУСТА 632 ГОДА ОТ Р. Ф. ЭКСТРАКТ МЛЕЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ПРИНИМАТЬ ПО ТРИ РАЗА ЕЖЕДНЕВНО ПЕРЕД ЕДОЙ. ПЛАЦЕНТИН: 5 КУБ.

СМ., ВВОДИТЬ ВНУТРИВЕННО РАЗ В ТРИ ДНЯ...

Уф! Я терпеть не могу внутривенных, а ты?

— Я тоже. Но они очень эффективны...

Фанни всегда славилась своей разумностью.

Наш Форд — или Наш Фрейд, как он, по каким-то непонятным причинам, предпочитал себя называть, когда писал о психологических вопросах, — Наш Фрейд был первым, кто открыл, какие ужасные опасности кроются в семейной жизни. Мир был полон отцов — и потому полон нищеты; полон матерей — и потому полон всевозможных извращений, от садизма до целомудрия; полон братьев, сестер, дядьев и теток — полон безумия и самоубийства.

— И, однако, среди дикарей Самоа или на некоторых островах возле побережья Новой Гвинеи...

Под тропическим солнцем лежали, как теплый мед, обнаженные дети природы, беспорядочно сходившиеся друг с другом, кто с кем хотел, в зарослях алтеи. Под любой пальмой был для них кров и дом. На Тробриане туземцы полагали, что детей зачинают не живые мужчины, а духи предков, и у этих туземцев не было даже понятия отцовства.

— Противоположности сходятся, — сказал Правитель. — И была достаточно важная причина

для того, чтобы им сойтись.

— Доктор Уэллс говорит, что, если я принимаю субститут беременности хотя бы месяца три, это улучшит мое состояние здоровья на три-четыре года вперед.

— Надеюсь, так оно и будет, — сказала Ленина. — Но, Фанни, неужели ты действительно целых три месяца не будешь...

— Ну, что ты, дорогая. Конечно, нет. Только неделю или две. Ничего, я буду ходить по вечерам в Клуб и играть в Музыкальный Бридж. А ты, наверно, сегодня кому-то отдаешься?

Ленина кивнула.

— Кому?

— Генри Фостеру.

— Опять? — на добром, луноподобном лице Фанни появилось выражение неодобрительного изумления. — Ты хочешь сказать, что ты все еще сходишься с Генри Фостером?

Матери и отцы, братья и сестры. Но были еще мужья, жены, любовники. Были еще моногамия и романтика.

— Хотя вы, наверно, и представления не имеете, что все это значит, — сказал Мустафа Монд.

Студенты покачали головами.

Семья, моногамия, романтика. Во всем — ин-

дивидуализация, во всем — фокусирование интереса на единичном объекте, направление энергии и импульсов в один-единст- венный узкий канал.

— Но каждый человек принадлежит всем остальным людям, — закончил Правитель свой рассказ, процитировав гипнопедический лозунг.

Студенты кивнули, горячо соглашаясь с утверждением, которое после шестидесяти двух тысяч повторений в темноте они в свое время приняли на веру не просто как истину, но как азбучную аксиому — самоочевидную и посему совершенно неоспоримую.

— Но ведь, — возразила Ленина, — я схожусь с Генри всего около четырех месяцев.

— Всего четыре месяца? Мне это нравится! И мало того! — продолжала Фанни, обвиняюще уткнув в Ленину перст указующий. — Все это время у тебя не было никого другого! Так?

Ленина покраснела, как маков цвет, но в ее горящих глазах и в тоне ее голоса все еще был вызов.

— Нет, больше никого другого у меня не было, — ответила она. — Но я не вижу причин, почему у меня должен был появиться кто-то другой.

— Ах вот как, она не видит причин, почему у

нее должен был появиться кто-то другой! — язвительно повторила Фанни, словно обращаясь к какому-то незримому слушателю, стоявшему за спиной Ленины; затем Фанни неожиданно изменила тон. — Говоря серьезно, мне кажется, что тебе надо бы поостеречься. Ты же сама знаешь, это совершенно антиобщественное поведение — долгое время отдаваться одному и тому же мужчине. В тридцать пять, в сорок лет, может быть, в таком поведении нет ничего ужасного. Но в твоем возрасте, Ленина! Нет, так не пойдет. И тебе отлично известно: наш Директор глядит на такие длительные связи куда как косо. Целых четыре месяца с Генри Фостером! И больше ни одного мужчины за все это время! Да если бы Директор об этом узнал, он бы просто осатанел от ярости.

— Представьте себе воду, текущую в трубе под давлением.

Студенты представили.

— Я протыкаю трубу, — сказал Правитель. — Что происходит?

Он проткнул трубу двадцать раз. Из трубы забило двадцать фонтанчиков.

— Крошка моя! Дитятко мое!

— Мама!

Безумие заразительно.

— Любовь моя, мой единственный, мой драгоценный!

Мать, моногамия, романтика. Фонтанчик поднимается выше, струя бьет все сильнее. У желания есть только один- единственный выход. Моя любовь, мое дитятко! Не удивительно, что все эти бедные мамаши доисторических времен были безумные, порочные и жалкие существа. Мир не позволял им относиться к жизни легко, не позволял им быть здравомыслящими, добродетельными и счастливыми. О чем бы ни шла речь — о матерях, или о любовниках, или о запретах, которые этим людям постоянно хотелось нарушать, ибо научное человеководство не приучило их радостно соблюдать такие запреты, или о всех этих древних болезнях и бесконечных болях, или о нужде и неуверенности в своем будущем, — все это люди принимали всерьез. А если все принимаешь всерьез (и, более того, страдаешь в одиночестве, в безнадежной индивидуальной изоляции), то разве можно быть счастливым?

— Разумеется, совершенно не обязательно совсем отказываться от Генри Фостера. Просто отдавайся время от времени кому-нибудь другому, вот и все. Ведь у него, небось, бывают другие

девушки, не так ли?

Ленина кивнула.

— Конечно, бывают. Генри Фостер — это настоящий джентльмен, он всегда поступает так, как положено, и он не делает ничего антиобщественного. И потом, не нужно забывать и о Директоре. Ты же знаешь, какой он педант по части выполнения всех норм поведения в обществе...

Ленина опять кивнула.

— Сегодня он меня шлепнул на прощанье, — сказала она.

— Ну вот, видишь, — торжествующе сказала Фанни. — Это показывает, что он об этом думает. Он строго соблюдает все, что положено.

— Устойчивость! — сказал Правитель. — Устойчивость! Ни одна цивилизация не может существовать без социальной устойчивости.

Его голос гремел, как труба. Слушая его, студенты чувствовали себя более значительными, у них становилось теплее на душе.

Механизм работает, работает и должен продолжать работать — вечно. Если он остановится, это — смерть. Сначала на земной коре копошилась какая-нибудь тысяча миллионов людей. Через полтораста лет людей стало две тысячи миллионов. Остановите механизм — и через полтораста

недель на земле опять останется, тысяча миллионов; тысячи тысяч- тысяч людей умрут от голода.

Колеса механизма должны вращаться непрерывно — но они не могут вращаться, если за ними никто не следит. Следить за ними должны люди — люди, столь же устойчивые, как колеса, прочно насаженные на свои оси, люди здравомыслящие, люди послушные, люди спокойные, уравновешенные и довольные своей судьбой.

Но когда люди то и дело причитают: "О дитя мое, мамочка, любимый, любимая!", или когда они скулят: "О, грехи мои, всемогущий боже!", или когда они вопят от боли, трясутся в лихорадке, жалуются на свою старость и нищету, — разве могут при этом люди следить за тем, чтобы колеса должным образом вращались? А если они не могут следить за тем, чтобы колеса вращались... Трупы тысяч- тысяч-тысяч мужчин и женщин будет трудно схоронить или сжечь.

— И, в конце концов, — примирительно сказала Фанни, — не так уж это противно и неприятно — отдаться еще одному- двум мужчинам помимо Генри. И тебе следовало бы быть чуть менее разборчивой...

— Устойчивость! — упорно повторил Правитель. — Устойчивость! Главная и настоятельная

необходимость нашей эпохи! Устойчивость! Она решает все.

Обведя вокруг себя рукой, он указал на сад, на огромное здание ИЧП, на обнаженных детей, прятавшихся в кустах или бегавших по газонам.

Ленина покачала головой.

— Почему-то, — задумчиво произнесла она, словно размышляя вслух, — я действительно стала в последнее время более разборчивой. Иной раз наступает такое время, когда хочется быть разборчивой. Разве с тобой это не случалось, а, Фанни?

Фанни кивнула — участливо и понимающе.

— Однако, — сказала она назидательно, — нужно прилагать усилия, чтобы с этим бороться. Мы обязаны выполнять моральные обязательства, наложенные на нас тем обществом, в котором мы живем. Ведь, в конце концов, каждый человек принадлежит всем остальным людям.

— Да, каждый человек принадлежит всем остальным людям, — медленно повторила Ленина и, вздохнув, на мгновение замолчала, а затем, взяв руку Фанни, слегка пожала ее. — Фанни, ты совершенно права. Как всегда.

Поток вовлекает в себя мелкие щепки, а поток — это чувство, поток — это страсть, поток — это

даже безумие: он зависит от силы течения, от высоты и прочности плотины. Поток, не перегороженный плотиной, неторопливо течет по предначертанному руслу, он спокоен и благополучен. (Эмбрион голоден; день ото дня насос суррогата крови делает свои восемьсот движений поршня в минуту.) Только что отдекантированный ребенок начинает вопить; немедленно появляется сестра с бутылкой эликсира внешней секреции. Неприятная эмоция возникает в том промежутке времени, который существует между возникновением желания и его исполнением. Так сократите же этот промежуток, уничтожьте его, разрушьте все эти древние, никому не нужные преграды — и человек будет счастлив.

— Счастливцы! — сказал Правитель. — Ваши отцы и деды не пожалели сил, чтобы сделать вашу жизнь эмоционально легкой — чтобы предохранить вас, насколько это возможно, от каких бы то ни было эмоций!

— Ленина Краун? — поднимая молнию на брюках, переспросил Генри Фостер в ответ на вопрос Заместителя Начальника Отдела Социального Предопределения. — О, она чудесная девушка! Необыкновенно пневматичная! Странно, что вы ее не пробовали.

— Сам понять не могу, почему так случилось, — сказал Заместитель Начальника. — Но я определенно ее попробую. При первой же возможности.

Одеваясь в противоположном углу комнаты, Бернард Маркс случайно расслышал эти слова и побледнел.

— Сказать правду, — продолжала Ленина, натягивая левый чулок, — мне уже немного надоедает день за днем ложиться с одним только Генри Фостером. Кстати, ты знакома с Бернардом Марксом? — спросила она таким подчеркнуто небрежным тоном, что сразу можно было понять: за этим тоном определенно что-то кроется.

Фанни вскинулась.

— Не хочешь ли ты сказать...

— А что такое? Бернард Маркс — альфа-плюс. Кроме того, он пригласил меня съездить вместе с ним в Дикарский Заповедник. Я давно уже хочу там побывать.

— Но... его репутация...

— Какое мне дело до его репутации?

— Говорят, он не любит играть в Штурмовой Гольф.

— Мало ли что говорят! — скривилась Ленина.

— И, кроме того, он проводит большую часть

своего свободного времени сам с собой —один!

В голосе Фанни звучал ужас.

— Ну, так что же? Когда он поедет со мной в Заповедник, он не будет один. И вообще, отчего о нем говорят столько гадостей? А мне он очень нравится.

Ленина украдкой улыбнулась. Почему она так нелепо застенчива? Ей стало почти страшно: как будто она — Правитель Мира, а он — чернорабочий из касты гамма-минус.

— Скажем, подумайте о том, как живете вы сами и как живут вам подобные, — сказал Мустафа Монд. — Случалось ли кому-нибудь из вас сталкиваться с непреодолимым препятствием?

Ответом на этот вопрос было молчание, показывающее, что никто из студентов с подобным препятствием, отдекан- тировавшисцне сталкивался.

— Доводилось ли кому-нибудь из вас испытать, что это такое, когда между возникновением желания и его исполнением проходит достаточно долгий промежуток времени?

— Вот, например... — начал было один студент, но, замявшись, осекся.

— Ну, говорите, — сказал Директор ИЧП. — Не заставляйте Его Фордство ждать.

— Однажды мне пришлось ждать почти месяц до тех пор, пока девушка, которую я хотел, мне отдалась.

— И это пробудило в вас сильные эмоции?

— Ужасные.

— Вот именно: ужасные! — сказал Правитель. — Наши предки были столь глупы и недальновидны, что, когда появились первые реформаторы и предложили своим современникам избавить их от этих ужасных эмоций, с этими реформаторами никто не хотел иметь дела.

"Они говорят о ней так, будто она — кусок мяса! — Бернард Маркс заскрежетал зубами. — Попробовать ее здесь, попробовать ее там. Словно она — бифштекс. Да она для них и вправду — как бифштекс. Она сказала мне, что подумает. Сказала, что ответит мне на этой неделе. О Форд, Форд, Форд!"

Ему хотелось подойти к этим двум и врезать им по физиономии — и еще раз, и еще раз, как можно сильнее.

— Очень, очень советую вам ее попробовать, — сказал Генри Фостер.

— Возьмите, например, эктогенез. Пфицнер и Кавагуч- чи тщательно разработали всю технику эктогенеза. Но вы думаете,какие-нибудь прави-

тельства пожелали хотя бы вникнуть, что это такое? Нет. В ту эпоху существовало так называемое христианство. Женщин силой принуждали быть живородящими.

— Он такой уродливый, — сказала Фанни.

— А мне его внешность нравится.

— И такого крошечного роста!

Фанни скорчила гримасу; малый рост — это было так ужасно: это так напоминало существо из низших каст.

— А по-моему, он очень милый, — возразила Ленина. — У меня возникает такое чувство, что хочется его ласкать и гладить. Знаешь, как кошечку.

Фанни была шокирована.

— Говорят, что, пока он был еще в колбе, кто-то сделал какую-то ошибку, какой-то просчет — подумал, что ему предназначено быть гаммой, и впрыснул ему в суррогат крови спирту. Вот почему он такой коротышка.

— Какая чушь! — возмущенно воскликнула Ленина.

— В Англии обучение во сне было запрещено законом. В ту эпоху существовал так называемый либерализм. Парламент — вы, небось, и не знаете, что это такое, — парламент принял специальный

закон, запрещающий гипнопедию. Сохранились документы. На эту тему произносились речи, в которых ораторы разглагольствовали о свободе. О свободе быть непродуктивным и жалким! О свободе круглое таскать и плоское катать!

— Но, дорогой мой, уверяю вас, я ничего не имею против!

— Генри Фостер похлопал Заместителя Начальника Отдела по плечу. — Каждый человек принадлежит всем остальным людям.

"По сто повторений, три ночи в неделю, в течение четырех лет! — подумал Бернард Маркс, который был специалистом по гипнопедии. — Шестьдесят две тысячи четыреста повторений составляют одну истину. Идиоты!"

— Или, например, кастовая система. Она постоянно предлагалась — и постоянно отвергалась. В ту эпоху существовала так называемая демократия. Как будто люди — это нечто большее, чем физико-химическое уравнение!

— Ну, так вот, я собираюсь принять его приглашение.

Бернард Маркс ощущал жгучую ненависть к ним обоим. Но их было двое, они были высокого роста, они были сильнее его.

— В 141 году от Р.Ф. началась Девятилетняя

Война.

— Даже если это правда — все, что болтают про спирт в его суррогате крови...

— Фосген, хлорпикрин, иодоацетат этила, дифенилциа- нарзин, трихлорметиловый хлороформ, сернистый дихлор- этил. Не говоря уже о синильной кислоте...

— Но я этому просто-напросто не верю! — заявила Ленина.

— Шум четырнадцати тысяч самолетов, двигающихся в открытом боевом порядке. Но на Курфюрстендам и в Восьмой Префектуре взрывы антраксовых бомб привлекали не больше внимания, чем звук лопнувшего бумажного пакета.

— Потому что мне действительно хочется побывать в Дикарском Заповеднике.

— $CH_3H_2(N0_2)$ + $Hg(CNO)_2$ = ну, чему? Огромной воронке в земле, обрушившемуся кварталу домов, разорванным кускам человеческой плоти, отчлененной ноге в ботинке, которая падает на клумбу с геранью, забрызганную кровью, — вот какое замечательное зрелище можно было наблюдать на земле в то лето.

— Ленина, ты безнадежна! Я просто не могу больше с тобой спорить.

— Особенно изобретательными оказались

русские: они придумали хитроумный способ отравлять воду в тех странах, с которыми они воевали...

Обернувшись друг к другу спинами, Фанни и Ленина продолжали одеваться молча.

— В результате Девятилетней Войны наступил страшный экономический кризис. Человечество оказалось перед выбором: либо Всемирное правительство, либо гибель. Либо устойчивость, либо...

— Фанни Краун — тоже очень милая девушка, — сказал Заместитель Начальника Отдела Социального Предопределения.

В яслях закончился урок Основ Классового Сознания, и вкрадчивый голос загодя готовил будущий спрос на будущую промышленную продукцию:

— Я так люблю летать, — шептал голос — я так люблю летать; мне нравится хорошо одеваться, покупать новую одежду; новая одежда — это новая надежда; новая одежда...

— Либерализм, разумеется, погиб от бубонной чумы, но все равно еще нельзя было действовать насильно...

— Но не такая пневматическая, как Ленина. О, совсем не такая!

— Старую одежду так неприятно носить, — вну-

шал вкрадчивый голос под подушкой. — Новая одежда — это новая надежда. Старые вещи мы всегда выбрасываем. Чем штопать, так лучше ухлопать; чем штопать, так лучше ухлопать; чем штопать...

— Чтобы умело управлять, надо думать, а не подавлять. У хорошего Правителя должны быть крепкие ягодицы и голова на плечах. Например, была введена всеобщая обязательная потребительская повинность...

— Ну, я готова, — сказала Ленина; но Фанни все еще молчала и смотрела в сторону. — Фанни, дорогая, давай помиримся.

— Каждому мужчине, каждой женщине и каждому ребенку было вменено в обязанность потреблять в год столько-то товаров. В интересах производства. Но единственным результатом...

— Чем штопать, так лучше ухлопать. От заплат не станешь богат; от заплат...

— Помяни мое слово, — мрачно сказала Фанни, — рано или поздно не миновать тебе беды.

— Повсеместно распространилось сознательное пассивное сопротивление, оно приняло угрожающие размеры. Все что угодно — только не потреблять! Назад к природе!

— Я так люблю летать, я так люблю летать!

— Назад к культуре! Да, вот именно, к культуре! Но тот, кто сидит у себя в комнате и читает книги, не очень много потребляет товаров.

— Я хорошо выгляжу? — спросила Ленина.

Ее жакетка была сделана из ацетатной ткани бутылочного цвета, манжеты и воротник оторочены зеленым вискозным мехом.

— Восемьсот диссидентов — сторонников Движения за Простую Жизнь — были скошены пулеметным огнем на Золотой площади.

— Чем штопать, так лучше ухлопать, чем штопать, так лучше ухлопать...

Зеленые вельветовые шорты и белые гольфы из вискозной шерсти, открывавшие голые колени...

— А потом произошло знаменитое Побоище у Британского Музея. Демонстрацию движения Поборников Культуры встретили газовыми бомбами, и две тысячи человек погибло от отравления сернистым дихлорэтилом.

От солнца глаза Ленины прикрывал козырек жокейской шапочки в белую и зеленую полоску; на ногах у нее были лакированные туфли светло-зеленого цвета.

— В конце концов, — сказал Мустафа Монд, — Правители поняли, что насилие не принесет желаемых плодов. И они обратились к более мед-

ленным, но гораздо более действенным методам: к эктогенезу, к неопавловианскому чело- веководству, к гипнопедии...

Она надела пояс — зеленый, с серебряной окантовкой пояс из искусственного сафьяна; в ячейках пояса (поскольку Ленина отнюдь не была франкмартинкой) хранился положенный запас противозачаточных средств.

— Наконец-то началось практическое применение открытий Пфицнера и Кавагуччи. Активная пропаганда против живородного размножения...

— Великолепно! — в восторге воскликнула Фанни; ей никогда не удавалось слишком долго сопротивляться обаянию Ленины. — А какой у тебя красивый мальтузианский пояс!

— Одновременно велась кампания против Прошлого. Были закрыты музеи, взорваны все оставшиеся исторические памятники (к счастью, большинство памятников было разрушено еще во время Девятилетней Войны) и запрещены все книги, опубликованные до 150 года от Р. Ф.

— Я просто должна обзавестись таким же поясом! — сказала Фанни.

— Например, существовали исторические памятники, именуемые пирамидами...

— Мой старый пояс из черной лакированной

кожи...

— И был писатель по имени Шекспир. Вы, конечно, обо всем этом и слыхом не слыхали...

— Мне просто стыдно носить такой пояс!

— Таковы преимущества воистину научного человековод- ства...

— От заплат не станешь богат; от заплат не станешь...

— День, когда впервые появилась модель "Т" Нашего Форда...

— Я уже ношу его месяца три...

— Был единодушно избран датой начала новой эры.

— Чем штопать, так лучше ухлопать; чем штопать, так...

— Я уже говорил: существовало так называемое христианство...

— Чем штопать, так лучше ухлопать.

— Христианство — это этика и философия эры недопроизводства...

— Новая одежда — это новая надежда; новая одежда — это новая надежда; новая одежда — это...

— В эру недопроизводства христианство сыграло важную роль; но в век машин и фиксации азота христианство стало преступлением против

обществадормозом прогресса...

— Мне его подарил Фостер.

— У всех крестов была отпилена верхняя вертикальная планка, и они превратились в букву "Т". И еще в прежнюю эпоху люди поклонялись так называемому Богу...

— Это настоящий искусственный сафьян.

— И вот теперь у нас имеется Всемирное Государство. И наш всенародный праздник — День Форда. И Общественные Спевки. И Фордослужения Солидарности.

"О Форд, как я их ненавижу!" — думал Бернард Маркс.

— Люди верили в так называемое Небо. Но в то же самое время люди той эры имели привычку поглощать огромные количества алкоголя...

"Как бифштекс, ну просто, как бифштекс!"

— Верили в так называемую душу и так называемую загробную жизнь...

— Спроси Генри, где он его достал.

— Кроме того, люди принимали наркотики.

"А хуже всего то, что и она сама считает себя чем-то вроде бифштекса, предназначенного для них".

— В 178 году от Р.Ф. двум тысячам фармакологов и биохимиков были отпущены огромные

субсидии.

— А он какой-то мрачный! — сказал Заместитель Начальника Отдела Социального Предопределения, указывая на Бернарда Маркса.

— Через шесть лет началось коммерческое производство этого препарата. Идеальное средство!

— Давайте подразним его!

— Эвфоричное, наркотичное, приятно галлюцинантное.

— Что хандришь, Маркс, что хандришь?

Бернард Маркс опомнился от легкого удара по плечу. Перед ним стоял эта скотина, Генри Фостер.

— Что тебе сейчас нужно — так это грамм-другой сомы.

— В соме соединились все преимущества христианства и алкоголя, но в ней не было их недостатков.

"О Форд, как бы я хотел его убить!" — подумал Бернард Маркс.

Но он сказал только:

— Нет, спасибо.

И отвел рукой предложенный ему флакончик с таблетками.

— Вы можете уйти в отпуск от действительности, когда только пожелаете, и вернуться

назад, не чувствуя похмелья, не ломая голову над древними побасенками.

— Прими, — настаивал Генри Фостер, — прими.

— Так была практически гарантирована устойчивость общества.

— Когда проглотишь кубик сомы, все беды станут невесомы, — сказал Заместитель Начальника Отдела Социального Предопределения, цитируя один из лозунгов знакомой гипнопедической мудрости.

— Оставалось лишь победить старость.

— Пошел к черту! - заорал Бернард Маркс.

— Что за шум, а драки нет?

— Половые гормоны, переливание молодой крови, маг- незиевые соли...

— Помни: грамм сомы лучше, чем молнии и громы!

И, захохотав, они удалились.

— Были уничтожены все психологические травмы старости. А вместе с ними, разумеется...

— Не забудь спросить его про мальтузианский пояс, — напомнила Фанни.

— А вместе с ними, разумеется, исчезли склеротические изменения, обусловливающие умственную деградацию престарелых. Характер

человека сделался неизменным на протяжении всей его жизни.

— До сумерек мне еще нужно сыграть два раунда в Штурмовой Гольф. Так что я ужасно тороплюсь.

— Работа, развлечения — в шестьдесят лет наши силы и наши вкусы остаются такими же, какими они были в семнадцать. В тяжелые прежние времена старики нередко отказывались от юношеских удовольствий, переставали работать, уходили на пенсию, обращались к религии, запоем читали, размышляли — размышляли!

"Болваны! Свиньи!" — говорил сам с собой Бернард Маркс, направляясь по коридору к лифту.

— А теперь — таков прогресс — престарелые трудятся, престарелые совокупляются, престарелые предаются наслаждениям, и у них не остается времени, не остается досуга, чтобы сесть и поразмышлять; а если, по какой-то несчастной случайности, у них и образуется сколько-то свободного времени, если они среди своих многообразных занятий выкраивают минуту досуга, то всегда есть сома, вкусная сома, пленительная сома — полграмма в будний день, грамм в выходной, два грамма для путешествия на сказочный Восток, три грамма для увлекательнейшего

отпуска на Луне; а возвратившись к действительности, они обнаруживают, что минута досуга уже кончилась, и они снова погружаются в водоворот труда и развлечений, они носятся от чувствилища к чувствилищу, от одной пневматической девушки к другой, от электромагнитного поля для Штурмового Гольфа к...

— Уходи, девочка! — сердито закричал Директор ИЧП.

— Мальчик, уходи! Вы что, не видите, что Его Фордство занят? Уходите — и играйте в свои эротическое игры где- нибудь в другом месте!

— Бедные детки! — сказал Правитель.

Медленно, величественно, под равномерный гул хитроумной машинерии конвейеры продолжали двигаться вперед — по тридцать три сантиметра в час. В багровом полумраке сверкали бесчисленные рубины.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лифт был полон людей, которые вышли из раздевалок для альф, и, когда Ленина вошла, ее встретили дружескими улыбками и приветственными кивками. Ленину в ИЧП любили, и почти любой из работавших там мужчин в то или иное время провел с ней ночь или две.

"Все они такие милые, — думала она, отвечая улыбками на улыбки, — все они такие очаровательные". И все-таки ей хотелось бы, чтобы, например, у Джорджа Эдзеля уши были чуть поменьше (небось, на 328-м метре ему по ошибке ввели слишком много паратироида?). А глядя на Бенито Гувера, Ленина вспомнила, что, когда он разделся, он оказался чересчур волосатым.

Слегка расстроенная этим воспоминанием, Ленина отвернулась от Бенито Гувера и увидела в углу лифта невысокую фигуру и печальное лицо Бернарда Маркса. Она подошла к нему.

— Бернард, а я тебя искала. — Она говорила громко, ее голос перекрывал мерное жужжание лифта, и некоторые с любопытством повернулись в ее сторону. — Я хотела поговорить с тобой о твоем плане поездки в Нью-Мексико.

Уголком глаза Ленина уловила, что Бенито Гувер сделал шаг в ее сторону и раскрыл рот от изумления. Это ее укололо. "Он удивляется, что я не умоляю его снова со мной переспать", — подумала она и продолжала, обращаясь к Бернарду Марксу:

— Это было бы просто чудесно, если бы мы могли в июле съездить на неделю в Заповедник.

Таким образом Ленина публично доказывала

свою неверность Генри Фостеру. Будь здесь сейчас Фанни, она — при всем своем неодобрительном отношении к Бернарду — была бы довольна.

— Конечно, — добавила Ленина, одарив Бернарда многозначительной улыбкой, — если ты все еще хочешь поехать со мной.

Бледное лицо Бернарда залилось краской.

— Ты чего? — удивилась Ленина, но в то же время она была тронута тем, что имеет над Бернардом такую власть.

— Может быть, мы поговорим об этом в каком-нибудь другом месте? — заикаясь, пробормотал он, и вид у него при этом был потерянный и оробелый.

"У него такой вид, словно я сказала какую-то непристойность, — подумала Ленина. — Да он, небось, куда меньше смутился бы, если бы я действительно отпустила сальную шутку: например, спросила его, кто его мать или что-нибудь в этом роде".

— Я имею в виду здесь, на людях... — он снова оробел, и слова задохнулись у него в горле.

Ленина рассмеялась — весело и беззлобно.

— Какой ты смешной! — сказала она (и в тот момент она действительно считала, что он смешной). — Так ты предупреди меня, по крайней

мере, за неделю, ладно? — перешла она на деловой тон. — Мы, наверно, полетим на Голубой Тихоокеанской Ракете? Она взлетает с башни "Черинг-Т"? Или из Хемпстеда?

Не успел Бернард ответить, как лифт остановился.

— Крыша! — выкрикнул высокий, визгливый голос.

Лифтер был маленький человечек, одетый в черную униформу, какую носят эпсилоны-минус.

— Крыша!

Лифтер распахнул дверцы. Ему в глаза ударили теплые лучи послеполуденного солнца, он зажмурился.

— О, крыша! — повторил он восторженно; он словно неожиданно, к собственной радости, очнулся от какого-то гнетущего оцепенения, помрачившего на время его сознание. — Крыша!

С выжидательным восхищением, как преданный хозяину пес, эпсилон угодливо вглядывался в лица людей, выходивших из лифта. Они, не обращая на него внимания и весело беседуя между собою, вышли на озаренную солнцем крышу. Лифтер поглядел им вслед.

— Крыша? — сказал он снова, на этот раз с какой-то вопросительной интонацией.

Прозвенел звонок, и с потолка лифта раздался голос, исходивший из встроенного туда микрофона. Голос мягко, но настойчиво, приказывал:

— Спускайся вниз. Восемнадцатый этаж. Спускайся вниз. Восемнадцатый этаж. Спускайся вниз...

Лифтер поугрюмел, захлопнул дверцы, нажал кнопку и вместе с кабиной провалился обратно в темноту шахты лифта и в сумерки своего привычного томительного оцепенения.

Крыша была залита теплым светом. Послеполуденный воздух жужжал пропеллерами пролетающих во все стороны вертолетов. Бернард Маркс набрал в легкие воздуха. Он взглянул в небо, затем посмотрел вдаль на горизонт, и наконец его взгляд остановился на лице Ленины.

— Как тут хорошо! — сказал он; его голос слегка дрожал.

Ленина улыбнулась ему с выражением добросердечного

понимания.

— Для игры в Штурмовой Гольф лучше погоды не придумаешь! — ответила она радостно. — А теперь, Бернард, мне пора, я очень спешу. Генри рассердится, если я заставлю его ждать. Так ты предупредишь меня о дне отлета за неделю,

ладно?

И, помахав ему на прощание рукой, Ленина побежала по плоской крыше по направлению к ангарам. Бернард молча посмотрел ей вслед, и лицо его искривилось от боли.

— А она — очень даже ничего! — произнес чей-то веселый голос за спиной Бернарда.

Бернард встрепенулся и обернулся кругом. Перед ним светилось явной участливостью круглое, красное, лучезарное лицо Бенито Гувера. Бенито был повсеместно известен своим добродушием. Про него говорили, что он может спокойно прожить всю жизнь до старости лет, ни разу не попробовав сомы. Дурное настроение и припадки злобы, которые побуждали других людей брать внеочередные отпуска, были Бенито Гуверу совершенно чужды. Все окружающее казалось ему солнечным и безоблачным.

— Тоже пневматичная девочка, да еще какая! — воскликнул Бенито, а затем заговорил совсем другим тоном. — У тебя что-то мрачный вид. Хочешь принять грамм сомы? — Сунув руку в карман брюк, Бенито извлек флакончик с таблетками. — Когда проглотишь кубик сомы, все беды... Однако же, я погляжу!

Бернард не ответил, круто повернулся и рва-

нулся прочь. Бенито поглядел ему вслед.

— Что случилось с парнем? — удивленно пробормотал он, покачав головой. — Небось не врут злые языки, когда говорят, что ему еще до декантирования добавили спирту в суррогат крови. Он, знать, тогда чуть-чуть повредился в уме...

Бенито сунул в карман флакончик с таблетками сомы, вынул пачку жевательной резинки с половыми гормонами, вытащил одну полоску, засунул ее за щеку и, погруженный в размышления, зашагал к ангарам.

Генри Фостер уже выкатил из ангара свой вертолет и сидел на ступеньке кабины, когда, наконец, появилась Ленина.

— Ты на четыре минуты опоздала, — сказал он отрывисто, пока она взбиралась на сиденье рядом с ним.

Он включил мотор. Вертолет начал вертикально подниматься в воздух. Генри нажал на акселератор, и шум мотора из жужжания шершня превратился сначала в жужжание осы, а затем в жужжание москита; спидометр показывал, что они поднимаются вверх со скоростью два километра в минуту. Лондон под ними быстро уменьшался в размерах. Огромные здания с плоскими крышами через несколько секунд

превратились в геометрической формы грибы, растущие в высокой зеленой траве. Среди них, на тонком стебле, возвышался над остальными стройный гриб башни "Черинг-Т", поднявший к небу огромный плоский диск из сверкающего железобетона.

Над головами Генри Фостера и Ленины плыли, подобные расплывшимся торсам сказочных атлетов, огромные кучевые облака. Одно из них неожиданно уронило из себя небольшое алое насекомое, которое, жужжа, стало падать вниз.

— Вон экспресс "Красная Ракета"! — сказал Генри. — Рейсом из Нью-Йорка. Он посмотрел на часы. — Опаздывает на семь минут, — отметил он и покачал головой. — Ох, уж эти мне трансатлантические линии: просто ужас, до чего они не пунктуальны!

Он снял ногу с акселератора. Жужжание лопастей наверху стало ослабевать, снизилось октавы на полторы и снова из жужжания москита начало напоминать жужжание сперва осы, потом шершня, потом пчелы, потом хруща и наконец жучка-рогача. Через минуту Генри и Ленина уже неподвижно висели в воздухе. Генри нажал на рычаг; раздался щелчок. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее впереди них начал

вращаться пропеллер, и вертолет стал набирать скорость. При горизонтальном полете ветер свистел в ушах гораздо громче. Генри пристально смотрел на указатель оборотов; когда стрелка коснулась отметки 1200, он включил передачу, и машина, рванувшись, лихо понеслась вперед.

Ленина смотрела вниз, в окно, проделанное в полу вертолета. Они летели над шестикилометровой парковой зоной, которая отделяла центральный Лондон от первого кольца окружающих его пригородов — городов-спутников. Между зеленью деревьев и газонов вздымались к небу цилиндрические башни. Неподалеку от Шепердс-Буша, на кортах, беты- минус, разбившись на пары — их было, наверно, тысячи две,— играли в Травяной Теннис Римана. Дорогу из Ноттинг-Хилла в Уиллесден окаймляли двойные ряды Эскалаторных Кортов. На стадионе в Илинге дельты проводили соревнования по гимнастике, рядом шла Общественная Спевка.

— Какой это все-таки ужасный цвет — хаки! — воскликнула Ленина, повторяя гипнопедическое предубеждение, внушенное ее касте.

Внизу проплыли стройные корпуса Хаунслоуской Студии Чувствилища: территория Студии занимала семь с половиной гектаров. Неподале-

ку от Студии армия рабочих, одетая в черное и в хаки, заново витрифицировала поверхность Большого Западного Шоссе. У Завода Телевизионной Корпорации в Брентфорде одетые в зеленое девушки-гаммы, как муравьи, роились около входов или стояли в очередях на остановках монорельсового трамвая. В толпе то и дело появлялись и исчезали темно-красные беты-минус. На крышах главного корпуса кишели садящиеся и взлетающие вертолеты.

— Честное слово, — сказала Ленина, — как я счастлива, что я — не гамма.

Через десять минут они приземлились в Сток-Поджесе и начали свой первый раунд Штурмового Гольфа.

Бернард бежал по крыше, встречая на своем пути почти сплошь опущенные взгляды, а если кто-нибудь случайно и поднимал на него глаза, то сразу же боязливо отворачивался. В эту минуту Бернард чувствовал себя так, как чувствует себя зверь, которого травят; но травили его враги, которых он не желал видеть, чтобы не вызвать в них еще большую к себе враждебность и чтобы не ощущать себя еще более безнадежно одиноким.

"Какая скотина все-таки этот Бенито Гувер!"

Бернард понимал, что Бенито хотел ему только

добра; но это, может быть, еще даже хуже. Почему-то те, кто хотели Бернарду добра, вели себя по отношению к нему точно так же, как те, кто хотели ему зла. Даже Ленина заставляла его страдать. Он вспомнил все эти недели робкой нерешительности, вспомнил, как он много раз смотрел на Ленину и хотел ее, но у него не хватало храбрости подойти к ней и предложить ей себя, так как он боялся натолкнуться на презрительный отказ. Но если бы она сказала "да" — какое это было бы блаженство! Ну, так вот, теперь она сказала "да", а он все еще чувствовал себя препогано. Почему? Наверно, потому, что он так ждал этой минуты, а Ленина — единственное, о чем она могла в такую минуту ему сказать, так это о том, что сегодня стоит отличная погода для игры в Штурмовой Гольф. И потому, что она тут же ускакала, чтобы встретиться с этим занудой Генри Фостером и играть с ним в эту идиотскую игру.

И еще потому, что она сочла смешным нежелание Бернарда говорить с ней на людях о самых что ни на есть интимных делах. Короче говоря, он чувствовал себя препогано потому, что Ленина вела себя именно так, как и должна вести себя здоровая и благовоспитанная англичанка, а не каким-нибудь другим — ненормальным и

порочным — образом.

Бернард отпер дверь своего ангара и позвал двух дежурных дельт-минус, чтобы они выкатили его вертолет на крышу. Штат обслуживающего персонала ИЧП-вских ангаров состоял из одной бокановскифицированной группы дельт: все рабочие были близнецами, абсолютно похожими друг на друга, одинаково низкорослыми, темноволосыми и уродливыми. Бернард отдал приказание резким, довольно высокомерным и даже оскорбительным тоном, каким говорит человек, который не слишком уверен в себе, несмотря на все преимущества своего высокопоставленного положения. Общение с людьми из низших каст всегда приводило Бернарда в дурное расположение духа. Ибо, какова бы ни была тому причина (а сплетня насчет спирта в его суррогате крови вполне могла быть справедливой: ведь происходят же иногда ошибки и несчастные случаи), а по своему внешнему виду и телосложению Бернард действительно едва ли отличался от обычного мужчины-гаммы. Рост у Бернарда был на восемь сантиметров меньше среднего роста альф, и он был более щуплым, чем обычно бывает муж- чина-альфа. Поэтому один лишь вид существ из низших каст болезненно

напоминал Бернарду о несовершенстве его физического развития.

— Я — это я; но я хотел бы не быть собой, — негромко сказал он про себя (чудовищная ересь в устах любого гражданина Всемирного Государства, а в устах альфы в особенности) .

Бернард постарался призвать на помощь все свое самообладание, но на душе у него было тревожно. Каждый раз, когда ему приходилось смотреть гамме или дельте прямо в лицо, а не взирать на него сверху вниз, Бернарда охватывало какое-то странное чувство унижения. Он никогда не был уверен, окажет ли ему это низшее существо то высокое уважение, которое подобает оказывать члену его касты. Этот вопрос постоянно терзал Бернарда. И не без причины. Ибо гамм, дельт и эпсилонов с помощью гипнопедии прочно приучили в определенной степени ассоциировать большой рост и крепкое телосложение с социальным превосходством. Действительно, некоторый гипнопедический предрассудок, связывающий высокий рост с высокими достоинствами, был общераспространенным явлением. Из-за этого предрассудка женщины смеялись, когда Бернард предлагал им себя, а мужчины постоянно устраивали над ним розыгрыши.

Вечные насмешки сделали Бернарда изгоем; а чувствуя себя изгоем, он и вел себя, как изгой — что, в свою очередь, усиливало предвзятое к нему отношение и ту презрительную враждебность, которую пробуждали в окружающих его физические недостатки. Поэтому Бернард тяготел к одиночеству; хроническая боязнь насмешек и шуток заставляла его сторониться людей своей касты, а в обращении с нижестоящими вести себя высокомерно и резко. Как отчаянно он завидовал другим мужчинам — вроде Генри Фостера или Бенито Гувера! Мужчинам, которым никогда не приходится кричать на эпсилона, чтобы тот повиновался; мужчинам, которые принимают свое положение как должное; мужчинам, которые чувствуют себя в обществе с кастовой системой как рыбы в воде — чувствуют себя настолько уверенно, что даже сами не осознают, какие преимущества им дарованы.

Вяло и, как показалось Бернарду, с неохотцей двое рабочих выкатили на крышу его вертолет.

— А ну, живее! — прикрикнул Бернард.

Один из рабочих поднял голову и взглянул на него. Бернарду почудилось, что в пустых серых глазах дельты он уловил оттенок презрения.

— Живее! — прикрикнул он еще раз, на этот раз

громче, и в голосе его прозвучали неприятные, рыкающие нотки.

Он взобрался в вертолет и через минуту уже летел к югу, по направлению к реке.

Там, в огромном шестидесятиэтажном здании на Флит- стрит, помещались различные агитационно-пропагандистские учреждения. В подвальном помещении и на нижних этажах находились типографии и редакции, в которых выпускались три самые крупных лондонских газеты: ежечасная газета для высших каст под названием "Аурли Таймс", неброская — на бледно-зеленой бумаге — газета "Гамма Ньюс" и совсем примитивная газета "Дельта Миррор", печатаемая на бумаге цвета хаки (в этой газете все статьи состояли только из односложных слов). Выше, над редакциями, на двадцати двух этажах размещались три пропагандистских агентства: Агентство Пропаганды по Телевидению (АПТ), Агентство Пропаганды посредством Осязаемых Картин (АППОК) и Агентство Синтетического Пения и Музыки (АСПиМ). Еще выше, в исследовательских лабораториях и набитых людьми кабинетах и конторах, создавали свои изысканные произведения члены Союза Звукозаписывающих Писателей (СЗП) и Союза Создателей Синтети-

ческой Музыки (СССМ). Верхние восемнадцать этажей занимал Инженерно-Эмоцио- нальный Колледж (ИЭК).

Бернард приземлился на крыше здания и вышел из вертолета.

— Позвоните мистеру Гельмгольцу Уотсону, — приказал он швейцару-гамме, — и скажите ему, что на крыше его ожидает мистер Бернард Маркс.

Он сел и закурил сигарету.

Гельмгольц Уотсон сидел и писал, когда ему позвонили и сообщили, что его ждет Бернард Маркс.

— Скажите ему: я сейчас приду, — ответил Гельмгольц Уотсон и повесил трубку.

Затем он повернулся к секретарше и произнес тем же официальным, безразличным голосом:

— Сложите мои бумаги.

Он встал и, стараясь не замечать обращенной к нему лучезарной улыбки секретарши, быстро пошел к двери.

Гельмгольц Уотсон был человеком могучего сложения, массивным, с широкой грудью; и в то же время он мог похвастаться завидной подвижностью и ловкостью. У него были вьющиеся черные волосы и резкие, выразительные черты

лица. Его явно можно было назвать красивым, и, как не уставала повторять его секретарша, он был до кончиков ногтей альфа-плюс, в нем каждый сантиметр выглядел альфой-плюс. По профессии Гельмгольц Уотсон был лектором в Инженерно-Эмоциональном Колледже — он читал на литературном факультете курс писательского мастерства, — а в свободное от своих преподавательских обязанностей время работал в качестве Инженера Человеческих Эмоций. Он регулярно публиковал статьи в "Аурли Таймс", писал сценарии для чувствилищ и обладал редким даром сочинять лозунги и гипнопедические куплеты.

— Ничего не скажешь, способный! — выносили о нем приговор вышестоящие начальники. — Может быть, — и тут они качали головами, многозначительно понижая голос, — может быть, даже слишком способный.

Да, слишком способный — они были правы. Чрезвычайно высокое умственное развитие способствовало тому, что у Гельмгольца Уотсона появились точно такие же черты характера, какие появились у Бернарда Маркса из-за его физических недостатков. Бернарда Маркса отдаляло от его собратьев то, что он был хуже других развит физически; а Гельмгольца Уотсона отдаляло

от его собратьев то, что он, по всем принятым стандартам, был лучше других развит умственно. Признанное интеллектуальное превосходство внушило Гельмгольцу чувство обособленности, чувство непохожести на других. Благодаря своим недюжинным способностям Гельмгольц сумел познать самого себя, и это обрекло его на внутреннее одиночество. Гельмгольца и Бернарда сближало то, что оба они, хотя и по разным причинам, были не такие, как все; их сближало то, что оба они были одиноки; и их сближало то, что оба они понимали: каждый из них — это индивидуальная личность, а не просто частичка толпы. Но если физически неполноценный Бернард всю свою жизнь страдал от того, что он непохож на окружающих, то Гельмгольц лишь недавно понял, насколько он непохож на прочих людей; а поняв, что он их всех умнее, он почувствовал, что ему с ними неинтересно. И вот этот чемпион по Эскалаторному Смашболу, этот неутомимый сердцеед (поговаривали, что меньше чем за четыре года он перепробовал шестьсот сорок девушек), этот светский лев, душа общества — он вдруг словно очнулся от долгого, нелепого сна: его вдруг осенило, что спорт, женщины, приятели были для него чем-то совсем не главным в жизни.

На самом деле, где-то в глубине души, он хотел чего-то другого. Но чего же? Он и сам не знал. Вот на эти-то темы Бернард сейчас и приехал с ним потолковать — или, скорее, поскольку в их беседах говорил больше Гельмгольц, Бернард приехал еще раз послушать, что ему скажет его друг.

Когда Гельмгольц вышел из лифта, дорогу ему преградили четыре очаровательных девушки из АСПиМ; девушки умоляюще вцепились в него.

— О Гельмгольц, дорогой, — защебетали они, — поедем с нами на пикник в Эксмор!

Он покачал головой и, разведя девушек руками в разные стороны, прошел между ними.

— Нет, не могу.

— Мы никого больше из мужчин не приглашаем!

Но даже это заманчивое обещание не соблазнило Гельмгольца.

— Не могу, — повторил он, — я занят.

И он направился своим путем. Девушки последовали за ним. Они прекратили преследование только тогда, когда он забрался в вертолет Бернарда и захлопнул за собой дверцу, — но и после этого дело не обошлось без громких упреков.

— Ох, уж эти бабы! — воскликнул Гельмгольц, когда машина поднялась в воздух. — Ох, уж эти

бабы! Жуткое дело!

Он покачал головой и нахмурился. Бернард кивнул, сделав вид, что согласен с Гельмгольцем, но двоедушничал: в то же самое время он подумал о том, что хотел бы трахнуть столько же девушек, сколько трахнул Гельмгольц, и чтобы при этом они ложились под него, Бернарда, с такой же готовностью, с какой они ложились под Гельмгольца. Бернарда неожиданно охватило непреодолимое желание чем-то похвастаться.

— Я с собой в Нью-Мексико беру Ленину, — обронил он как мог небрежнее.

— Вот как? — спросил Гельмгольц, явно без малейшего интереса.

Он с минуту помедлил, потом продолжил:

— Последнюю неделю или две я отшиваю всех своих девочек, не хожу ни на какие сборища. Ты и представить себе не можешь, какой трезвон идет сейчас из-за этого по всему ИЭКу. И все-таки, по-моему, дело того стоило. Это привело... — он поколебался. — Это привело к довольно-таки диковинным последствиям.

Физические недостатки нередко возмещаются избыточным разумом. Но бывает, кажется, и наоборот. Избыток интеллекта, по своим собственным, неисповедимым причинам, может

привести к добровольной слепоте и глухоте намеренного одиночества, к искусственной импотенции аскетизма.

Гельмгольц замолчал, и до конца полета, длившегося, впрочем, очень недолго, ни один из друзей не произнес ни слова. Когда они добрались до места назначения и удобно устроились на пневматических диванах в комнате Бернарда, Гельмгольц снова заговорил.

— У тебя никогда не возникало ощущения, — очень медленно спросил он, — будто внутри тебя кроется нечто неведомое, и оно только ждет, когда ты дашь ему прорваться наружу? Какая-то мощная энергия, которой ты не пользуешься, — что-то вроде той воды, которая без пользы низвергается с водопада, вместо того чтобы вращать турбины?

— Ты имеешь в виду все те эмоции, которые мы могли бы ощущать, если бы жили по-иному?

— Не совсем. Я говорю о том, что у меня иной раз появляется какое-то странное ощущение — ощущение, будто я могу сказать что-то исключительно важное, и у меня есть силы это сказать, но только я не знаю, что это такое, и я не могу воспользоваться своими силами. Словно бы можно писать как-то по-иному... или о чем-то ином...

Гельмгольц замолчал; наступила долгая пауза.

— Видишь ли, — начал он наконец снова, — я очень неплохо сочиняю броские афоризмы, разные крылатые фразы, которые неожиданно заставляют тебя подпрыгнуть, словно ты сел на булавку: они кажутся такими новыми, свежими, необычными — несмотря на то, что написаны они о чем-то, что гипнопедия приучила нас считать совершенно бесспорным. Но гипнопедические истины меня почему-то не удовлетворяют. Мне мало того, что я сочиняю, вроде бы, правильные, хорошие фразы: мне нужно еще, чтобы они и звучали хорошо.

— Но ведь твои фразы действительно хороши, Гельмгольц.

— О, постольку-поскольку! — Гельмгольц пожал плечами.

— Я чувствую, что мои фразы — какие-то пустые. В них не хватает чего-то важного. У меня такое ощущение, что я могу создать нечто более значительное. И, к тому же, более сильное, более напряженное, более яркое. Но что именно? О чем более значительном я могу написать? И как можно создать что-то сильное и яркое о таких вещах, о которых мне приходится писать. Если правильно употреблять слова, они могут стать

как рентгеновские лучи — могут просвечивать тебя насквозь, проникать в тебя. Прочтешь — и почувствуешь, что ты пронзен насквозь. Вот это-то я и пытаюсь внушить своим студентам — пытаюсь научить их писать проникновенно. Но какой толк в проникновенности, когда сочиняешь статью об Общественной Спевке или рифмованную гипнопедическую частушку? Да к тому же, когда пишешь о таких вещах, едва ли вообще можно создать что-нибудь проникновенное. Разве возможно сказать что-то, когда говоришь про ничто? Вот это меня все время и гнетет. Я пробую и пробую...

— Тшш! — неожиданно сказал Бернард и предупреждающе поднял палец. — Мне кажется, кто-то стоит у двери.

Оба прислушались. Затем Гельмгольц встал, на цыпочках прошел через комнату и резким рывком распахнул дверь. За дверью, разумеется, никого не было.

— Прости! — смутившись, сказал Бернард. — У меня, как видно, шалят нервы. Когда люди тебя в чем-то подозревают, поневоле сам начинаешь их подозревать.

Он провел рукой по глазам, вздохнул и, оправдываясь, пожаловался, почти со слезами на

глазах:

— Если бы ты знал, через что мне пришлось в последнее время пройти! Если бы ты только знал!

Гельмгольц Уотсон почувствовал себя неловко. "Бедный крошка Бернард!" — подумал он. Но в то же самое время ему было немного стыдно за своего друга. Ему хотелось, чтобы у Бернарда было чуть больше чувства гордости.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Закончив свои положенные раунды Штурмового Гольфа, Ленина и Генри снова забрались в вертолет и взмыли вверх. На высоте восьмисот футов Генри заглушил мотор, и машина застыла в воздухе. Под ними расстилался лондонский район Слоу — тысячи совершенно одинаковых домов для одинаковых людей из низших каст. Чуть поодаль поднимались величественные здания Слоуского Крематория.

— Для чего вокруг труб такие штуки, вроде балкончиков?

— спросила Ленина.

— Это аппараты для использования вторичного сырья, в данном случае фосфора, — объяснил Генри. — Каждый раз, когда кого-нибудь кремируют,

газы, поднимаясь вверх по трубе, проходят через циклонные фильтры, в которых осаждается P_20_5 . Раньше он в буквальном смысле словауходил в трубу, а теперь его удается абсорбировать до девяноста восьми процентов. Более чем по полтора килограмма фосфорного ангидрида на каждый труп взрослого человека. Это дает ежегодно более четырехсот тонн фосфора одной только Англии. Приятно думать, что даже после смерти мы приносим пользу обществу.

— Да, приятно, — согласилась Ленина, глядя вниз, на остановку монорельсового трамвая, на которой, как муравьи, суетились существа из низших каст. — Но любопытно, что альфы и беты дают обществу столько же фосфора, сколько гаммы, дельты и даже эпсилоны.

— С точки зрения физико-химического состава, — назидательно сказал Генри, — все люди совершенно одинаковы. Кроме того, ведь даже эпсилоны тоже оказывают обществу важные услуги, без которых оно не могло бы обойтись.

— Даже эпсилоны...

Ленина вспомнила, как, еще маленькой девочкой, она иногда просыпалась ночью и вслушивалась в мягкий, вкрадчивый голос, раздававшийся из-под подушки: "Все славны в своей работе,

каждый труд у нас в почете, касты всякие нужны, люди разные важны..."

— Наверно, даже эпсилоны вполне довольны тем, что они — эпсилоны, — задумчиво сказала Ленина.

— Конечно, довольны! А почему бы и нет? Ведь они же и понятия не имеют, что такое быть чем-нибудь другим. Конечно, если бы м ы вдруг превратились в эпсилонов, нам это не понравилось бы. Но ведь если бы мы в свое время декантировались эпсилонами, нас бы соответствующим образом запрограммировали. Кроме того, и наследственность у нас другая...

— Как я счастлива, что я — не из касты эпсилонов! — убежденно сказала Ленина.

— А будь ты из касты эпсилонов, тебя бы воспитали таким образом, что ты была бы столь же довольна своим положением, сколь довольны своим положением альфы и беты.

Генри включил мотор, и вертолет стал набирать скорость. Над Крематорием машину вдруг подбросило вверх струей горячего воздуха, вырвавшегося из трубы, а потом снова опустило.

— Ух, как качает! — радостно воскликнула Ленина.

— А знаешь, почему нас качнуло? — спросил

Генри, и в голосе его зазвучал оттенок легкой грусти. — Сейчас только что исчезло чье-то человеческое тело — исчезло окончательно и без остатка, превратилось в облачко газа. Интересно, кто это был: мужчина или женщина, альфа или эпсилон? — Генри вздохнул, а потом продолжал уже более веселым голосом. — Во всяком случае, мы можем быть уверены в одном: кто бы это сейчас ни исчез, при жизни он был счастлив. В нашу прекрасную эпоху все счастливы.

— Да, сейчас все счастливы, — как эхо, повторила Ленина; в течение двенадцати лет она слышала эту фразу по сто пятьдесят раз каждую ночь.

Приземлившись на крыше сорокаэтажного жилого дома в Вестминстере (в этом доме находилась комната Генри), они прошли в общую столовую. Там они отлично пообедали в шумной и веселой компании. После обеда подали кофе с сомой. Ленина приняла две полуграммовых таблетки, а Генри — три. В двадцать минут десятого они отправились через улицу в недавно открытое кабаре "Вестминстерское Аббатство". Стояла темная, безлунная, звездная ночь. Неоновая вывеска выхватывала из темноты слова на фасаде "Аббатства": "ТАНЦАМБЛЬ СЕКСОФОНИСТОВ ПОД

УПРАВЛЕНИЕМ КАЛЬВИНА СТОПСА". Ниже призывно сияла надпись: "ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ОРГАН - ЛУЧШИЙ В ЛОНДОНЕ: СИМФОНИЯ ЗАПАХОВ И КРАСОК. НОВИНКИ СИНТЕТИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ".

Генри и Ленина вошли в зал. В горячем воздухе бросался в нос едкий запах амбры и сандала. На куполе потолка эзотерический орган только что нарисовал тропический закат. Шестнадцать сексофонистов играли старую популярную мелодию "В целом мире не сыщешь Колбы такой". На зеркальном полу четыреста пар танцевали секстрот, и Генри с Лениной немедленно присоединились к ним, сделавшись четыреста первой парой. Сексофоны выли, как мелодичные кошки под луной, закат на потолке постепенно уступал место рассвету, запахи менялись, краски переливались и переплетались, и наконец музыканты танцамбля, отложив сексофоны, под аккомпанемент эротофона разразились волнующей, зажигательной песней:

О Колба моя, как чудно тебя бутылировали!
О Колба моя, зачем же меня декантировали?
В тебе лишь одной —
Небосвод голубой
И солнце всегда негасимое!
Всю жизнь я стремлюсь к тебе лишь одной!

В целом мире не сыщешь Колбы такой.

Как Колба моя родимая!

Дергаясь в секстроте вместе с четырьмя сотнями других пар, Ленина и Генри танцевали уже в совсем другом мире — в теплом, разноцветном, упоительном, дивном мире сомы. И вокруг были такие добрые, такие красивые, такие милые люди! "Всю жизнь я стремлюсь к тебе лишь одной!" Но Ленина и Генри уже нашли то, к чему стремились. Они были среди коллектива — в безопасности среди коллектива, ублаженные ясной погодой, окруженные прекрасной природой, на фоне заката и восхода и вечносинего небосвода. И когда, отдуваясь в изнеможении, сексофонисты снова взяли свои инструменты и заиграли последнюю новинку синтетической музыки — "Мальтузианский блюз", — Ленина и Генри были как два эмбриона, медленно вращающиеся рядом друг с другом на волнах забутылированного океана суррогата крови.

— Доброй ночи, дорогие друзья! Доброй ночи, дорогие друзья! — громкоговоритель отдавал приказ в учтивом и музыкально-доброжелательном тоне. — Доброй ночи, дорогие друзья! Доброй ночи...

Повинуясь, как и все остальные, Ленина и Генри

вышли из кабаре. Все еще под воздействием сомы, все еще как забутылированные, они перешли улицу и поднялись на лифте в комнату Генри на двадцать восьмом этаже. Но, убаюканная и ублаженная сомой, Ленина все же не забыла принять положенную дозу противозачаточного средства. Годы интенсивной гипнопедии и — с двенадцати до семнадцати лет — мальтузианской тренировки по три раза в неделю превратили для нее эту предосторожность в такое же машинальное и неизбежное действие, как мигание.

— Да, кстати! — сказала Ленина, выходя из ванной. — Фанни Краун хотела спросить; где ты достал этот очаровательный пояс из искусственного сафьяна?

По вторым и четвертым четвергам каждого месяца Бернард Маркс был обязан принимать участие в Фордослуже- ниях Коллективизма, проводившихся на собраниях его Коллективистского Кружка. Пообедав с Гельмгольцем Уотсоном в "Афродитеуме", он расстался со своим другом и отправился в Общество Фордопоклонников на Ладгейт- Хилл.

— Форд, я опаздываю! — воскликнул Бернард, когда он приземлился на крыше Общества Фордопоклонников и взглянул на Большого Генри

(так называли большие часы на башне здания Общества). — О Форд, Форд, Форд! Это уже в девятый раз!

И он опрометью устремился к лифту, спустился на тридцать второй этаж, пробежал по коридору, несколько мгновений в нерешительности помедлил перед комнатой № 3210 и, набравшись наконец храбрости, открыл дверь и вошел.

Слава Форду, он был не последний! Из двенадцати кресел, приставленных к круглому столу в центре комнаты, целых три были еще не заняты. Бернард немедленно плюхнулся в первое из них, ближайшее к двери, стараясь сделать это как можно незаметнее, и приготовился бросать неодобрительные взгляды на двух последних опоздавших.

Девушка, сидевшая слева от Бернарда, повернулась к нему.

— На чем ты сегодня играл? — спросила она. — На копуля- тивном кислофоне или на клиторической гитаре?

Бернард поглядел на нее ("О Форд, да ведь это же Моргана Ротшильд!" — подумал он) и, покраснев, признался, что ни на том, ни на другом. Моргана с изумлением взглянула на него. Последовало неловкое молчание.

Затем Моргана демонстративно повернулась к Бернарду спиной и завязала кокетливый разговор с более сознательным мужчиной, который сидел с другой стороны.

"Хорошенькое начало Фордослужения!" — с горечью подумал Бернард. Почему он, войдя, с бухты-барахты сразу кинулся именно к этому креслу, почему он хотя бы не огляделся по сторонам? Он мог бы сесть между Фифи Бредли и Джоанной Дизель. А вместо этого он, по собственной дурости, оказался рядом с этой напыщенной Морганой. Моргана! О Форд! И эти ее черные брови — скорее, только одна бровь, потому что брови у Морганы Ротшильд совершенно срослись над носом. Форд! А справа от Бернарда оказалась Клара Детердинг. Конечно, брови у Клары — нормальные, не сросшиеся. Но она, пожалуй, даже чересчур пневматич- на! А вот Фифи и Джоанна — хорошие девушки. Полненькие, блондинистые, не слишком высокие. Но теперь между ними расселся этот тучный болван Том Кавагуччи.

Последним явился Сароджини Энгельс.

— Вы опоздали! — сурово сказал Староста Кружка. — Надеюсь, это больше не повторится.

Сароджини извинился и занял место между Джимом Бокановским и Гербертом Бакуниным.

Теперь Коллективистский Кружок был в полном сборе, готовый приступить к Фордослужению. Мужчина, женщина, мужчина, женщина — и так далее, чередуясь, сидели вокруг стола двенадцать мужчин и женщин: они жаждали сблизиться, сплотиться, сплавиться, слиться в Единении, раствориться в Коллективе, потерять свои двенадцать индивидуальностей и начать жить высшей жизнью — превратиться в одно нерасторжимое, великое Благое Существо.

Староста подал знак, и Фордослужение Коллективизма началось. Из эротофона зазвучала синтетическая музыка, и вокруг стола обошел кубок с земляничным мороженым, в котором была растворена сома; каждый из участников Фордослужения пригубливал из кубка, произнося установленную формулу:

— Пью за мое растворение в Коллективе!

Затем под аккомпанемент эротофона, все хором спели Первый Гимн Коллективизма:

Двенадцать нас, но мы едины,
Как капли в море Коллектива;
В восторге общего порыва,
В сплоченье общей дисциплины
Мы вместе понесемся ныне
Вперед, как в быстром лимузине.

Двенадцать вдохновляющих и мобилизующих строф. А затем упоительный кубок снова обошел стол. Все снова выпили. Неутомимо и неумолимо играла синтетическая музыка. Били барабаны. Звенели цимбалы. Ревущая и лязгающая гармония проникла в размягшие внутренности Фордопоклонников. И зазвучал Второй Гимн Коллективизма:

О, приди, Благое Существо!
Все, что в нас, — в тебе растворено!
Нас двенадцать — все за одного!

Нас двенадцать — мы слились в Одно!
Все мы восхищенно смерти ждем,
Чтобы высшей жизнью жить потом.

Еще двенадцать строф. Теперь сома уже начала действовать. Глаза заблестели, щеки зарумянились, все лица озарились счастливыми, дружескими улыбками, в которых сиял внутренний свет всеобщей любви и сплоченности. Даже Бернард немного размяк. Когда Моргана Ротшильд, повернувшись к нему, одарила его лучезарной улыбкой, он постарался улыбнуться ей в ответ как можно радушнее. Но сросшиеся брови — они никуда не делись, они были все такие же, и Бернард, как ни пытался, не мог заставить себя о них забыть: должно быть, он еще недостаточно

околлекти- вился. Может быть, если бы он сел между Фифи и Джоанной...

Пленительный кубок в третий раз обошел стол.

— Пью за Величие Грядущего Единения! — громко и восторженно провозгласила Моргана Ротшильд (наступила ее очередь начинать ритуальный обряд); она пригубила из кубка и передала его Бернарду.

— Пью за Величие Грядущего Единения! — повторил Бернард, искренне стараясь ощутить, что это Единение действительно грядет, но сросшиеся брови Морганы продолжали действовать ему на нервы, и блаженное коллективистское забытье так и не приходило.

Он пригубил — и передал кубок Кларе Детердинг. "Снова у меня ничего не получится, — подумал он в отчаянии. — Я чувствую, что не получится!" Но он делал все возможное, чтобы улыбаться так же лучезарно, как и все остальные.

Кубок в третий раз проделал полный круг. Хор разразился Третьим Гимном Коллективизма:

Благого Существа мы ожидаем!

Мы ждем кончины, радуясь судьбе!

Мы в гимне сгинем, в музыке растаем,

И будешь ты — во мне, а я — в тебе!

По мере того как Гимн звучал все громче, в голосах трепетало все большее и большее возбуждение. Ощущение величия приближающегося мгновения, казалось, наэлектризовало самый воздух в комнате. При последних словах последнего куплета Староста выключил музыку, и когда Гимн отзвучал, неожиданно на комнату упала полная тишина — тишина, насыщенная напряженным ожиданием, трепещущая гальванической жизнью. Староста протянул руку, и неожиданно над головами зазвучал Голос — глубокий, сильный Голос, более звучный, чем любой голос человеческий, более одухотворенный, более нежный, звучащий любовью, томлением и сочувствием. Этот Голос очень медленно произнес:

— О Форд, Форд, Форд!

По телам Фордопоклонников, от солнечного сплетения до самых отдаленных нервов, заизлучалось волнующее тепло; на глазах заблестели слезы; сердца, внутренности стали, казалось, шевелиться, будто в них затеплилась своя собственная жизнь.

— Форд!

Они таяли.

— Форд!

Они растворялись, расплавлялись.

А затем вдруг Голос заговорил совсем по-иному — он загремел, как труба:

— Слушайте!

Все обратились в слух.

И, выждав немного, в полной тишине, Голос перешел на шепот — но шепот властный, решительный, внушающий больше трепета, чем самый истошный крик:

— Стопы Благого Существа!

Он помолчал и повторил:

— Стопы Благого Существа!

Шепот почти умер.

— Стопы Благого Существа — уже у порога!

И опять упала тишина; опять — после минутной разрядки — воцарилось ожидание, — оно становилось все напряженнее, напряженнее, напряженнее, как туго натянутая струна, готовая в любой миг лопнуть. Стопы Благого Существа — о, они их слышали, они их слышали! Благое Существо ступало по лестнице, оно все приближалось и приближалось по незримым ступеням. И наконец наступил тот долгожданный миг, когда струна наконец лопнула. С выпученными глазами, широко разинув рот, Моргана Ротшильд

вскочила с места и выкрикнула:

— Я слышу его! Я слышу его!

— Оно подходит! — заорал Сароджини Энгельс.

— Да, оно подходит, я его слышу! — одновременно завопили Фифи Бредли и Том Кавагуччи. тоже, словно подброшенные пружиной, резко вскочив с мест.

— О-о-о-о! — нечленораздельно завыла Джоанна.

— Оно подходит! — во всю мочь своих легких рявкнул Джим Бокановский.

Староста наклонился вперед и одним движением пальца выпустил на волю звон цимбалов, рев труб и грохот барабанов, и все это вместе слилось в оглушительное звуковое неистовство.

— О, оно подходит! — визжала Клара Детердинг, словно ей перерезали горло. — Уаааа!

Бернард понял, что настала пора и ему как-то проявить свои чувства; он тоже вскочил и заорал во весь голос:

— Слышу, слышу! Оно подходит!

Но он кривил душой: ничего он не слышал, ничего не предчувствовал, ничего не ощущал — ничего, совершенно ничего: царящее вокруг исступление нисколько его не заразило. Однако он размахивал руками, он орал, как одержимый,

подражая тому, что видел вокруг: и, когда все, войдя в транс, стали трястись, раскачиваться и извиваться, точно в падучей, Бернард тоже стал трястись, раскачиваться и извиваться.

Они выстроились в круг друг к другу спиной, каждый положил руки на бедра стоящего — или стоящей — впереди, и все запрыгали, завертелись, закружились в безумном хороводе, отбивая каблуками бешеный ритм синтетической музыки, выстукивая этот ритм кулаками на бедрах скачущего впереди партнера. Двенадцать — как Один! Двенадцать — как Один!

— Слышу! Слышу! Оно подходит! — неслись крики.

Музыка убыстрилась, каблуки застучали чаще, кулаки

забарабанили сильнее, и густой синтетический бас выгрохотал слова, предвещавшие приближающееся растворение в Коллективе — приход Благого Существа, олицетворявшего наступающее Двенадцатиединое Сплочение:

— Орды оргий! — запел он.

И барабаны стали лихорадочно отбивать бешеный гимн, а двенадцать голосов в исступлении заревели:

Орды оргий! Слава Форду!

Бьем аккорды! Бьем рекорды!
Спарить женщин и мужчин:
Все — Одну, и всех — Один!
Мы — в экстазе! Мы — в восторге!
Пляшем гордо в громе оргий,
Воем, кроем, входим в раж!
Орды оргий — отдых наш!

— Орды оргий, — звучал литургический припев. — Орды оргий! Слава Форду! Спарить женщин и мужчин!

И пока они пели, свет начал постепенно меркнуть — и в то же время он становился мягче, начал отливать красноватыми отблесками — и вот наконец все они уже плясали в багровой полутьме Эмбрионного Склада...

— Орды оргий!

В своем кроваво-красном эмбрионном мраке они продолжали еще пока дергаться, пульсировать, биться в неуемном ритме...

Орды оргий!

Затем хоровод нарушился, распался, его разрозненные звенья попадали на кольцо диванов, которое концентрической орбитой опоясывало стол и окружавшие его планеты- кресла...

— Орды оргий!

Глубокий Голос мягко обвораживал, манил,

успокаивал; и в багровых сумерках казалось, что какой-то громадный чернокрылый голубь покровительственно парит над теперь уже распростертыми, лежащими друг на друге фордопоклонниками...

Они стояли на крыше; Большой Генри только что проиграл одиннадцать. Ночь была спокойная и теплая.

— Ну, разве это было не чудесно? — спросила Фифи Бредли. — Разве это не было совершенно чудесно?

Она восторженно посмотрела на Бернарда — но в этом восторге не было ни тени возбуждения или волнения, ибо возбуждение и волнение свидетельствуют все же о какой- то неудовлетворенности. А ее восторг был спокойным экстазом благополучно завершенного наслаждения, экстазом успокоения, свидетельствовавшим не о кратковременном насыщении, после которого возникает ощущение пустоты, но о размеренном и полном довольстве, о спокойствии, об уравновешенном и надежном применении своей жизненной энергии.

— Ну, разве это было не чудесно? — повторила Фифи, глядя на Бернарда неестественно сияющими глазами.

— Да, это было чудесно, — солгал Бернард и отвел взгляд.

Ее преображенное лицо было для него одновременно и

осуждением и ироническим напоминанием о том, что он — не такой, как другие. Он и теперь был столь же одинок, столь же далек от них всех, как и тогда, когда Фордослуже- ние только началось — а то и еще более далек, ибо он ощущал в себе незаполненную пустоту, неосуществленные желания. Он был одинок и неприкаян, тогда как все остальные сплотились, соединились, сплавились в коллективном Благом Существе, — одинок и неприкаян даже в объятиях Морганы

— гораздо более одинок, чем когда-либо в своей прежней жизни. Он вышел из багровых сумерек на яркий электрический свет, и его самоощущение обострилось до того, что он был близок к агонии. Он чувствовал себя глубоко несчастным и, возможно (сияющие глаза Фифи обвиняли его), сам был в этом виноват.

— Да, чудесно, — повторил он.

Но единственное, что он помнил, — это сросшиеся брови Морганы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

"С заскоками" — так Ленина определила Бернарда Маркса. И притом, с такими заскоками, что она начинала уже жалеть, зачем она легкомысленно согласилась отправиться с Бернардом в Нью-Мексико, вместо того чтобы принять приглашение Бенито Гувера и лететь с ним на Северный Полюс. Но вся беда была в том, что Ленина уже успела побывать на Северном Полюсе, и там оказалась тоска зеленая. А в Америке она была только один раз в жизни — да и то всего лишь на дешевой экскурсии в Нью-Йорке. Ей очень хотелось побывать на американском Западе, а особенно — в Дикарском Заповеднике. Во всем ИЧП только десять-двенадцать человек бывали в Заповеднике. Разрешение на такую поездку мало кому давали, но Бернард Маркс как альфа-плюс и как психолог по профессии был одним из немногих, кто мог получить пропуск в Заповедник, и Ленине, таким образом, предоставлялась уникальная возможность, какая выпадает раз в жизни, — ведь одной ей туда нипочем не попасть. Однако, с другой стороны, у Бернарда обнаружились такие заскоки, что Ленина его побаивалась. Он был какой-то не такой, как все. Он уклонялся от общества, он считал Штурмовой Гольф бессмысленной тратой времени ("А для

чего же еще нужно время, как не для того, чтобы его тратить?" — удивленно спрашивала Ленина), и в первую их встречу он предложил ей поехать в Озерный Край, чтобы побродить там в одиночестве. Конечно, Ленина, настояла на том, чтобы отказаться от столь нелепой антиобщественной затеи и вместо этого отправиться на Женский Чемпионат по Вольной Борьбе в Амстердам.

Когда они поздно вечером летели назад, Бернард неожиданно заглушил мотор над Ламаншем, и вертолет застыл в воздухе.

— Взгляни! — сказал он

— Но это же ужасно! — воскликнула Ленина; чернота и пустота ночи испугали ее.

— Это прекрасно, Ленина! — сказал Бернард.— Тихая ночь, спокойное море, и никого вокруг — никакой дурацкой, шумной толпы. В такие минуты я чувствую себя выше, значительнее, я начинаю понимать, что я — это личность, а не просто клетка общественного организма. Ты никогда не задумывалась об этом, Ленина?

— Подумай, что ты говоришь? — сказала Ленина, чуть не плача. — Как ты можешь не хотеть быть клеткой общественного организма? В конце концов, каждый человек принадлежит всем остальным людям. Все делают общее дело. Даже

эпсилоны...

— Знаю, знаю! — прервал Бернард. — Касты всякие нужны, люди разные важны. Даже эпсилоны приносят пользу обществу. Я тоже приношу пользу обществу. Но я чертовски хотел бы никакой пользы ему не приносить.Ленина ужаснулась такому кощунству.

— Бернард! — в отчаянии крикнула она. — Как же ты можешь жить в обществе и быть свободным от общества?

— К а к я могу быть свободным от общества? — задумчиво переспросил Бернард. — Нет, вопрос, скорее, не в этом; вопрос в том, почему я н е могу быть свободным от общества; или, вернее, — ведь я отлично знаю, почему, — вопрос в том, что бы я делал, если бы я мог быть свободным от общества, если бы я не был рабом своего запрограммированного воспитания?

— Бернард, ты говоришь совершенно жуткие вещи!

— А разве ты не хочешь быть свободной, Ленина?

— Не понимаю, о чем ты говоришь. Я и так свободна. Свободна делать все, что мне хочется, свободна развлекаться, как мне нравится. В нашу прекрасную эпоху все счастливы.

Бернард засмеялся.

— Да, все счастливы. Мы начинаем внушать это детям с пяти лет. Но разве нельзя быть счастливым как-нибудь по-иному, Ленина? Быть счастливым п о-с в о е м у, а не так, как счастливы все остальные?

— Не понимаю, о чем ты говоришь, — повторила Ленина.

— Я вообще тебя не понимаю. Почему ты не принимаешь сому, когда у тебя появляются такие ужасные мысли? Ты бы о них забыл и снова стал весел и счастлив. И, пожалуйста, мне здесь страшно, давай полетим дальше.

— Ладно, — сказал Бернард, — полетим дальше.

Он нажал на акселератор, и машина рванулась вперед. Минуту-другую они летели молча. Потом Бернард неожиданно начал смеяться. "Какой он странный! — подумала Ленина. — Но, по крайней мере, он теперь хотя бы смеется!"

— Ну, успокоился? — спросила она.

Вместо ответа Бернард, не отрывая правой руки от рычага, протянул левую руку к Ленине и стал шарить у нее по груди. "Слава Форду! — подумала она. — Вроде бы, он очухался!"

Через полчаса, войдя следом за Лениной в ее

комнату, он уже повел себя как нормальный, морально-устойчивый

мужчина: он включил сразу и радио и телевизор, проглотил четыре таблетки сомы и начал раздеваться.

— Ну, — спросила Ленина, когда они встретились на следующее утро на крыше, — тебе вчера было хорошо?

Бернард кивнул, они взобрались в вертолет и взмыли в воздух.

— Все говорят, что я ужасно пневматичная, — задумчиво сказала Ленина.

— Ужасно, — повторил Бернард, но на сердце у него было муторно.

"Как бифштекс", — подумал он про себя.

— Но тебе не кажется, что я чересчур полновата? — спросила Ленина, напрашиваясь на комплимент.

Бернард отрицательно покачал головой. "Как непрожарен- ный бифштекс".

— Так, по-твоему, я — в порядке? — спросила Ленина, и он снова кивнул. — Во всех отношениях?

— Ты во всех отношениях идеальна, — сказал Бернард, а про себя подумал: "Она и сама о себе думает, как о бифштексе; и ей очень даже нравится быть бифштексом".

Ленина победоносно улыбнулась. Но она рано торжествовала победу.

— И все-таки, — добавил Бернард неожиданно, — мне хотелось бы, чтобы все это кончилось совсем иначе.

— Иначе? Как же еще иначе это могло кончиться?

— Мне не хотелось бы, чтобы это кончилось постелью,

— уточнил он.

Ленина была поражена.

— Во всяком случае, не сразу, не в первый же вечер...

— Но тогда — когда же?

И тут он понес что-то непонятное и даже опасное; Ленина старалась отключиться, заткнуть уши, не впитывать в себя его слов, но против ее воли к ней в сознание время от времени проникала то одна, то другая страшная фраза...

— ... Попробовать, что будет, если обуздать свои импульсы, — услышала она, и эта мысль почему-то врезалась ей в мозг.— Никогда не откладывай на завтра то, чем можно насладиться сегодня, — мрачно сказала Ленина.

— По двести повторений два раза в неделю от четырнадцати до шестнадцати лет, — проком-

ментировал Бернард и продолжал свои безумные, крамольные речи. — А я хочу узнать, что такое страсть. Я хочу испытать настоящее сильное чувство, я хочу испытать острые ощущения...

— Что для индивидуума — ощущение, то для общества — мучение, — процитировала Ленина.

— Ну, и что? Пусть оно немного помучается.

— Бернард!

Но Бернард забыл про всякий стыд.

— В труде и науке мы взрослые, — сказал он. — А в вопросах чувств мы — младенцы.

— Наш Форд любил младенцев.

— Как-то мне вдруг пришло в голову, — продолжал он, не обращая внимания на ее возражение, — что, может быть, мы можем стать взрослыми во всем.

— Не понимаю, — сурово сказала Ленина.

— Еще бы, конечно, не понимаешь. Потому-то ты вчера вечером и легла в постель, думая лишь о том, как бы переспать, вместо того чтобы вести себя по-взрослому и не спешить.

— Но ведь мы же получили удовольствие! — стояла на своем Ленина. — Разве не так?

— О, еще какое! — ответил Бернард, но голос у него был вовсе не радостный, а на лице появилось такое страдальческое, такое жалкое выражение,

что восторг Ленины мгновенно как рукой сняло. А может быть, она все-таки чересчур полновата?

Когда Ленина исповедалась во всем этом Фанни, та торжествующе заявила:

— А что я тебе говорила? Ему в суррогат крови добавили спирту.

— И все же, — упрямо возразила Ленина, — он мне нравится. У него такие красивые руки! И он так приятно поводит плечами! — Она вздохнула. — Если бы только у него не было всех этих заскоков!

Помедлив несколько мгновений у двери кабинета Директора ИЧП, Бернард сделал глубокий вдох и расправил плечи, готовясь встретить грудью неодобрение и враждебность, с которыми он ожидал сейчас столкнуться. Затем он постучал и вошел.

— Подпишите, пожалуйста, эту бумагу, Директор, — сказал он как можно более небрежным тоном, кладя на письменный стол бумагу.

Директор хмуро посмотрел на Бернарда. Но на бумаге красовалась круглая печать Всемирного Правительственного Управления и размашистая подпись Мустафы Монда, четко выведенная броскими черными буквами в нижнем правом углу. Все было в полнейшем порядке. У Директора не

было выбора. Он добавил свою подпись — нацарапал ее бледными, крошечными буквами, примостившимися сбоку и снизу от подписи Мустафы Монда, — и хотел было уже вернуть бумагу Бернарду, не сказав обычного в таких случаях доброжелательного напутствия "Форд в помощь, счастливого пути", как вдруг взгляд его неожиданно упал на одну фразу в тексте лежащего перед ним документа.

— В Дикарский Заповедник в Нью-Мексико? — спросил он, и в тоне его голоса, в выражении его лица, круто повернувшегося к Бернарду, выразилось какое-то удивленное возбуждение.

Изумленный его изумлением, Бернард кивнул. Последовала долгая пауза.

Директор нахмурился и откинулся в кресле.

— Как давно это было? — спросил он, обращаясь не столько к Бернарду, сколько к самому себе. — Кажется, лет двадцать. Или больше, около двадцати пяти. Должно быть, мне было тогда столько же лет, сколько вам.

Он вздохнул и покачал головой.

Бернард почувствовал себя неловко.

— Мне тогда хотелось того же, чего сейчас хочется вам, — сказал Директор. — Мне хотелось посмотреть на дикарей. Я получил пропуск в

Нью-Мексико, взял летний отпуск и отправился в путь. Вместе со мной была девушка, которая тогда мне отдавалась. Кажется она была бета-минус.

Директор закрыл глаза.

— Как я вспоминаю, у нее были светло-желтые волосы. Во всяком случае, она была пневматична — о, чрезвычайно пневматична, это я хорошо помню. Так вот, мы поехали в Нью-Мексико; мы смотрели на дикарей, катались верхом на лошадях, и все такое прочее. А потом — это случилось чуть ли не в последний день отпуска — потом... ну, словом, она пропала. Заблудилась, наверно. В тот день мы поехали верхом в эти жуткие горы, там было невыносимо жарко и неуютно, после обеда нас сморило, и мы уснули. По крайней мере, я уснул. А она, наверно, пошла погулять — одна. Как бы то ни было, но, когда я проснулся, ее не было. И как раз в это время разразилась гроза — я в жизни не видал такой сильной грозы. Загрохотал гром, заблестели молнии, и я не успел глазом моргнуть, как промок до нитки; а лошади, испуганные грозой, порвали поводки и ускакали. Я пустился было за ними, пытался их поймать — но, куда там, их и след простыл, а я, гоняясь за лошадьми, упал и разбил колено, так что не то что бежать, — я даже идти-то едва мог. Но я

все-таки ковылял под дождем по всем окрестным холмам, кричал, звал ее — безуспешно. Ее нигде не было.

Тогда я подумал, что она, может быть, сама вернулась назад в гостиницу. Я стал спускаться вниз в долину — тем же самым путем, каким мы утром поднимались. Колено у меня распухло и страшно болело, а я потерял свою сому. Час шел за часом, боль становилась сильнее, я двигался все медленнее. Когда я буквально из последних сил дополз до гостиницы, было уже за полночь. Моей спутницы в гостинице не было, ее там не было, ее там не было!

Директор повторил эти слова несколько раз и умолк. С минуту он сидел неподвижно, упершись взглядом в стол, а потом продолжил свой рассказ.

— Ну, так вот, на следующий день начались поиски. Но отыскать ее нам не удалось. Должно быть, она погибла: упала в пропасть, или ее сожрал лев. Форд знает! Это было ужасно. Я был совершенно подавлен. Даже, пожалуй, более подавлен, чем положено. Потому что я думал: а ведь такое может случиться с каждым; и я представлял себе, что бы было, если бы это случилось со мной. Но, конечно, общественный организм

остается неизменным, хотя отдельные его клетки могут измениться.

Однако эта внушенная во сне утешительная сентенция прозвучала в устах Директора довольно неубедительно; словно бы понимая это. Директор покачал головой и, понизив голос, признался:

— Иногда мне все это до сих пор снится по ночам. Мне снится, как я просыпаюсь от раскатов грома и вижу, что ее нет рядом; и я бегаю среди деревьев, и ищу ее, и зову, а она не откликается.

Директор умолк и погрузился в размышления.

— Это для вас, наверно, был ужасный удар, — сказал Бернард почти с завистью.

Услышав эти слова. Директор вздрогнул: он осознал, что он сейчас сделал, и мысленно обругал себя. (Говорить о событиях далекого прошлого считалось антиобщественным поступком, недостойным счастливого человека.) Директор искоса взглянул на Бернарда, но сразу же отвел взгляд и покраснел; потом взглянул на него снова с неожиданной подозрительностью и сердито сказал, защищая свое достоинство:

— Только не воображайте, что между мной и этой девушкой были какие-нибудь аморальные отношения. Ничего эмоционального, ничего

устойчивого. Это была совершенно здоровая и высоконравственная кратковременная связь.

Злясь на себя за то, что он под влиянием мгновенного душевного порыва выдал постороннему компрометирующую его тайну, Директор стал срывать свою злость на Бернарде. В его взгляде сверкала открытая враждебность.

— И я хотел бы воспользоваться этим разговором, мистер Маркс, — сказал он сурово, — чтобы сказать вам, что я недоволен последними полученными мной отчетами о вашем поведении во внеслужебное время. Конечно, вы можете сказать, что это — не мое дело. Но вы ошибаетесь, это — мое дело. Я считаю своим долгом заботиться о добром имени нашего Питомника. Наши сотрудники должны быть выше подозрений — особенно те сотрудники, которые принадлежат к высшим кастам. Альфы запрограммированы таким образом, что им и полагается быть младенцами в вопросах чувств. Однако это не значит, что сами они не обязаны прилагать к этому никаких усилий. Им надлежит делать все возможное, чтобы и дальше оставаться младенцами в эмоциональной сфере — даже если для этого им приходится подавлять свои природные наклонности. Таким образом, мистер Маркс, я предупреждаю вас о

неполном альфовом соответствии.

В голосе Директора звучало возмущение — праведное и нелицеприятное: он говорил сейчас не только от своего имени, его устами Бернарда Маркса осуждало само Общество.

— Если я еще раз услышу о том, что ваши слова или поступки не соответствуют установленным нормам эмоциональной инфантильности, я буду вынужден перевести вас в один из наших филиалов — предпочтительно в Исландию. Всего хорошего!

И, повернувшись в кресле, Директор углубился в лежащие перед ним бумаги.

"Это научит его уму-разуму", — подумал Директор, когда за Бернардом закрылась дверь. Но Директор ошибся. Бернард ушел из кабинета в приподнятом, возбужденном настроении — и потому, что услышал увлекательную историю, и потому, что увидел, как Директор в его присутствии поддался своим чувствам, и потому, что угроза Директора возвысила Бернарда в собственных глазах, доказала ему, что он все-таки — личность, а не какая-то жалкая клетка общественного организма. Он чувствовал себя сильным — сильным настолько, что его совсем не пугала директорская угроза, не пугала даже

Исландия. Да он и не верил, что ему что-нибудь будет. За такие нарушения людей не переводят в филиалы. Директор грозил, но на самом деле сделать ничего не мог. И, идя по коридору, Бернард весело насвистывал.

Этим же вечером, рассказывая о своей беседе с Директором Гельмгольцу Уотсону, Бернард несколько преувеличил свое непокорство и изобразил себя в довольно героических красках.

— Я ему просто сказал, чтобы он катился в бездонное прошлое, хлопнул дверью и вышел из комнаты, — закончил Бернард свой рассказ. — Вот и все.

Он посмотрел на Гельмгольца, ожидая должного одобрения, ободрения и восхищения. Но Гельмгольц не произнес ни слова. Он молча сидел, уставясь на дверь.

Гельмгольц любил Бернарда и был ему благодарен за то, что только с ним он мог говорить о вещах, казавшихся ему важными. И, однако, были у Бернарда черты характера, которых Гельмгольц терпеть не мог. Например, склонность к бахвальству. И припадки жалости к самому себе, с которыми перемежались эти припадки бахвальства. И неприятная склонность проявлять храбрость задним числом, резать людям

правду-матку, когда они этого не слышат. Всего этого Гельмгольц терпеть не мог — и все это ему было в Бернарде особенно ненавистно именно потому, что он любил Бернарда. Секунды проходили одна за другой. Гельмгольц продолжал молча смотреть на дверь. И неожиданно Бернард покраснел и отвернулся.

Путешествие прошло без всяких приключений. "Голубая Тихоокеанская Ракета" прибыла в Новый Орлеан на полминуты раньше, чем было положено по расписанию, но над Техасом угодила в торнадо и потеряла четыре минуты; однако на 95° западной долготы она попала в попутное воздушное течение, наверстала упущенное время и приземлилась в Санта-Фе с опозданием всего лишь на сорок секунд.

— Сорок секунд на шесть с половиной часов полета: не так уж плохо, — признала Ленина.

Ночь Бернард и Ленина провели в Санта-Фе. Гостиница была великолепна — не то что эта жуткая дыра "Дворец Авроры Боры", где Ленина так страдала прошлым летом. В Санта-Фе в каждом номере были жидкий воздух, телевизор, вибровак, радио, кипящий раствор кофеина, горячие противозачаточные средства и парфюматор на восемь различных запахов. В холле мягко играла

синтетическая музыка. Объявление на дверце лифта извещало, что при гостинице имеется шестьдесят кортов для игры в Эскалаторный Смаш- бол, а в парке можно играть в Штурмовой или в Электромагнитный Гольф.

— Да тут просто чудесно! — воскликнула Ленина. — Я бы охотно провела в этом отеле хоть весь отпуск. Подумать только — шестьдесят кортов...

— В Заповеднике никаких кортов тебе не будет, — предупредил Бернард. — И не будет запахов, не будет телевизора, не будет даже горячей воды. Если тебе кажется, что ты этого не выдержишь, то лучше оставайся здесь, пока я не вернусь.

Ленина была чуть-чуть обижена.

— За кого ты меня принимаешь? Конечно, выдержу! Я просто сказала, что здесь чудесно, потому что... ну, потому что ведь прогресс — это лучше, чем регресс, разве не так?

— По пятьсот повторений раз в неделю от тринадцати до семнадцати лет, — уныло пробормотал Бернард, словно бы обращаясь сам к себе.

— Что ты сказал?

— Я сказал, что прогресс — это действительно лучше, чем регресс. Поэтому тебе лучше не ехать в Заповедник, если тебе этого вправду не очень хочется.

— Но мне очень хочется!

— Ну, что ж, отлично! — сказал Бернард — почти с угрозой в голосе.

Выданный ему пропуск следовало завизировать у Главного Хранителя Заповедника, к которому они и отправились на следующее утро. Чернокожий секретарь-эпсилон почтительно взял визитную карточку Бернарда, и их почти сразу же пригласили в кабинет Главного Хранителя.

Главный Хранитель оказался светловолосым и брахи- цефальным альфой-минус — невысоким, румяным, круглолицым и широкоплечим, с громким грохочущим голосом; он назубок помнил всю гипнопедическую премудрость и был настоящим кладезем ненужной информации и непрошеных советов. Начав говорить, он уже не мог остановиться.

— ... Пятьсот шестьдесят тысяч квадратных километров, разделенных на четыре зоны, и каждая из них окружена изгородью из проволоки, по которой пропущен ток высокого напряжения...

В этот момент Бернард без всякой видимой причины неожиданно вспомнил, что у себя дома в Лондоне он забыл закрыть в ванной одеколонный кран.

— ...поступающий от гидроэлектростанции на Большом Каньоне...

"К тому времени, как я вернусь, у меня натечет одеколона на целое состояние, — подумал он и мысленно представил себе сменяющие одна другую цифры одеколонного счетчика.

— Надо будет как можно скорее позвонить Гельмгольцу!"

— ... всего пять тысяч километров изгородей под током напряжением в шестьдесят тысяч вольт.

— Не может быть, — вежливо сказала Ленина, совершенно не понимая, что все это означает, но сообразив по сделанной Главным Хранителем трагической паузе, что он говорит о чем-то весьма серьезном. Еще тогда, когда Хранитель только начал говорить, Ленина незаметно проглотила полграмма сомы, и в результате теперь она могла сидеть, не слушая и ни о чем не думая, но лишь болтая ногами и уста- вясь на Хранителя большими голубыми глазами, в которых застыло выражение напряженнейшего внимания.

— Тот, кто прикоснется к проволоке, будет убит на месте,

— торжественно провозгласил Главный Хранитель. — Бежать из нашего Заповедника совершенно невозможно.

Слово "бежать" снова напомнило Бернарду, что ему нужно скорее бежать и звонить в Лондон.

— Пожалуй, — сказал он, поднимаясь, — нам пора идти.

Цифры счетчика сменяли одна другую, поглощая его деньги.

— Бежать невозможно! — повторил Главный Хранитель, жестом приглашая Бернарда снова сесть в кресло; поскольку пропуск еще не был подписан, Бернарду оставалось только повиноваться. — Тот, кто рождается в Заповеднике... а ведь вы должны знать, моя дорогая леди, — добавил он, сально ухмыляясь своей скабрезности и переходя на непристойный шепоток, — вы должны знать, что в Заповеднике дети до сих пор все еще не декантируются, а рождаются, да, рождаются, каким бы диким это вам ни казалось...

Он надеялся, что, слушая о подобных непотребствах, Ленина покраснеет; но она лишь улыбнулась, пытаясь показать, какая она умная, и воскликнула:

— Не может быть!

Несколько разочарованный, Главный Хранитель продолжал:

— Так вот, тот, кто рождается в Заповеднике, обречен там и умереть.

Обречен умереть! Десятая часть литра одеколона в минуту. Шесть литров в час.

— Пожалуй, — попытался снова Бернард, — нам пора...

Наклонившись вперед, Главный Хранитель постучал указательным пальцем по крышке стола.

— Вы можете меня спросить, сколько людей живет в Заповеднике. И я вам отвечу, — в его голосе звучало торжество, — я вам отвечу: не знаю. Мы можем лишь приблизительно прикидывать.

— Не может быть!

— Моя дорогая леди, уверяю вас, это так.

Шесть умножить на двадцать четыре... Бернард побледнел и дрожал от нетерпения. Но Главный Хранитель неумолимо грохотал:

— Около шестидесяти тысяч индейцев и полукровок... совершеннейшие дикари... наши инспектора иногда посещают... помимо этого, никаких контактов с цивилизованным миром... до сих пор сохраняют свои отвратительные обычаи и привычки... супружество, если вы знаете, что это такое, моя дорогая леди... семья... никакого программированного воспитания... чудовищные предрассудки... христианство и тотемизм... поклонение предкам... умершие языки: зуни, испанский, атапаскский... пумы, дикобразы и

другие свирепые животные... заразные болезни... священники... ядовитые ящерицы...

— Не может быть!

Наконец им удалось вырваться от Главного Хранителя. Бернард ринулся к телефону. Скорее, скорее! Но ему потребовалось три минуты, чтобы дозвониться до Гельмгольца.

— Да ведь мы и сами — сущие дикари! — жаловался он.

— Ну и сервис!

— Прими таблетку сомы, — предложила Ленина.

Он отказался, предпочитая злиться и бушевать. Наконец он дозвонился, и, слава Форду, к телефону подошел сам Гельмгольц. Бернард объяснил, в чем дело, и Гельмгольц обещал сразу же отправиться и закрыть кран, но заодно рассказал Бернарду, о чем вчера вечером во всеуслышание сообщил Директор ИЧП.

— Что? Он ищет кого-то на мое место? — голос у Бернарда задрожал. — Так он действительно решил? Он не упоминал про Исландию? Говоришь, упоминал? О Форд! Исландия!

Бернард повесил трубку и повернулся к Ленине. Он весь позеленел, лоб у него покрылся испариной.

— Что случилось? — спросила она.

— Случилось? — он бессильно опустился в кресло. — Меня собираются перевести в наш филиал в Исландию.

Прежде Бернард нередко думал о том, как он будет себя вести, если на него обрушится (без сомы, чтобы он мог полагаться лишь на свои силы) какое-нибудь по-настоящему суровое испытание: боль, преследование, или что-нибудь в этом роде; он даже жаждал испытать превратности судьбы. Всего неделю назад в кабинете Директора он воображал себя великим борцом, представлял себе, как он мужественно примет обрушившиеся на него удары, как он будет безропотно переносить страдание. Угроза Директора, по сути дела, возвысила Бернарда в собственных глазах, пробудила в нем чувство собственной значимости. Однако, как он теперь понял, это произошло только потому, что он не принял директорскую угрозу всерьез: он попросту не поверил, что, когда дойдет до дела, Директор выполнит то, чем он его пугает. А теперь, когда выяснилось, что опасность стала вполне реальной, Бернард пришел в ужас; от его воображаемого стоицизма, от его теоретической храбрости не осталось и следа.

Он клял себя ("Какой я был идиот!"), клял Ди-

ректора ("Как это несправедливо: он не дает мне возможности исправиться, а ведь я, — сейчас Бернард был в этом свято убежден, — я так хочу исправиться!"). А Исландия, Исландия...

Ленина покачала головой.

— Сома — снадобье от всех болезней, — процитировала она. — Нет на свете ничего полезней.

В конце концов она убедила Бернарда принять четыре таблетки сомы. Через пять минут он забыл и про корни и про плоды: пышным цветом расцвел лишь цветок настоящего. Когда они вернулись в гостиницу, портье сообщил Бернарду, что, по распоряжению Главного Хранителя, за ним и Лениной прилетел на самолете один из работников охраны Заповедника, он ждет их на крыше. Бернард с Лениной немедленно отправились туда. Их встретил октороп в зеленой униформе гаммы; он сообщил им их сегодняшнюю программу.

Осмотр с птичьего полета десяти-одиннадцати основных пуэбло, затем обед в Мальпаисской долине. Там есть ресторан и удобные комнаты отдыха, а в соседнем пуэбло у дикарей, возможно, состоится местное торжество — праздник лета. Там, пожалуй, лучше всего будет переночевать.

Все трое заняли свои места в самолете и пусти-

лись в путь. Через десять минут они пересекли границу между цивилизованным миром и обиталищем дикарей. По долинам и по нагорьям, через чащи и пустыни, спускаясь в фиолетовые глубины каньонов и поднимаясь на покрытые хвойными лесами горные кряжи, тянулась, сколько хватало глаз, теряясь вдали, изгородь, оплетенная проводами, прямая как стрела, — геометрический символ торжествующей целеустремленности человека. Внизу, то тут, то там, попадались мозаичные россыпи выбеленных костей или чернела еще не разложившаяся туша оленя или буйвола, пумы или дикобраза, койота или канюка — в том месте, где животное имело неосторожность слишком близко подойти к смертоносной изгороди.

— Ничто их не учит, — сказал одетый в зеленое пилот, указывая на белевшие внизу скелеты. — И ничто не научит, — добавил он и засмеялся, словно эти скелеты знаменовали его личное торжество над убитыми током животными.

Бернард тоже засмеялся; после двух граммов сомы шутка охранника почему-то показалась ему остроумной. Засмеялся

— и почти сразу же после этого заснул и во сне пролетел над Таосом и Тусукой, над Намбе

и Похоаком, над Сиа и Кочити, над Лагуной и Акомой, над Месой, Зуни, Сиболой и Охо Калиенте — и когда проснулся, то обнаружил, что самолет уже стоит на земле, Ленина тащит чемоданы в небольшой квадратный домик, а одетый в зеленое окторон-гамма разговаривает на каком-то непонятном языке с угрюмым молодым дикарем.

— Мальпаисская долина, — объяснил пилот, когда Бернард выбрался из самолета. — Здесь есть гостиница. А к вечеру вон там, в пуэбло, будет праздник. Он вас туда отведет.

И пилот указал на угрюмого молодого дикаря.

— Вы увидите, это ужасно смешно, — заверил он Бернарда, ухмыляясь. — Все, что они ни делают, ужасно смешно.

Он забрался обратно в самолет и запустил мотор.

— Я завтра вернусь. И запомните, — он успокаивающе повернулся к Ленине, — они совершенно прирученные, они никогда не причинят вам никакого зла. Им уже пришлось на своей шкуре испытать, что такое газовые бомбы, и поэтому никаких фокусов они теперь себе не позволяют: понимают, что с нами шутки плохи.

Расхохотавшись, охранник развернул самолет,

взлетел в воздух и исчез в небе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Невысокая, удлиненная столовая гора с крутыми откосами напоминала по форме корабль, окутанный клубами желто- зеленой пыли. На носу этого корабля расположилось пуэбло Мапьпаис. Длинными рядами, квартал за кварталом, тянулись однообразные многоэтажные дома; у каждого дома первый этаж занимал немного больше площади, чем второй, второй — больше, чем третий, и так далее, и потому каждый этаж выше первого был со всех сторон опоясан длинными террасами, а сами дома напоминали устремленные к синему небу ступенчатые пирамиды, у которых был ампутирован верхний конус. Над некоторыми домами поднимались вверх синие столбики дыма, терявшиеся в безветренном воздухе.

— Странно! — сказала Ленина (в ее устах, как и в устах всех людей ее круга, это слово имело осуждающий смысл). — Очень странно. Мне здесь не нравится. И этот человек мне тоже не нравится.

Ленина кивком головы указала на молодого проводника- индейца, которому было поручено отвести ее и Бернарда в пуэбло. Судя по всему,

индеец отвечал ей взаимностью: он молча шагал на несколько шагов впереди и всем своим видом, даже своей походкой показывал, что относится к приезжим враждебно и презрительно.

— А кроме того, — Ленина понизила голос, — от него дурно пахнет.

Бернард промолчал.

Неожиданно застойный воздух словно пришел в движение, как будто в нем запульсировало какое-то невидимое кровообращение. Там, в Мальпаисе, громко забили барабаны и им ответил ритмичный стук притоптывающих ног.

Проводник привел Ленину и Бернарда к краю откоса; здесь над ними круто нависал борт "корабля" высотой в триста футов. По распадку, прорезавшему откос, зигзагом уходила вверх тропинка. Ленина и Бернард следом за проводником начали взбираться вверх. Бой барабанов то затихал и становился почти неразличимым, то вдруг усиливался и звучал будто бы из-за соседнего валуна. Мимо промчались вниз с горы трое индейцев, обнаженных до пояса и разрисованных белыми полосами, как теннисный корт. Глаза индейцев без всякого выражения скользнули по Ленине.

— Мне здесь не нравится, — повторила Ленина.

— Не нравится.

То, что она увидела у входа в пуэбло (когда проводник на время их оставил и пошел в какой-то дом, дабы получить дальнейшие указания), понравилось Ленине еще меньше. Грязь, кучи мусора, пыль, собаки, мухи. Лицо Ленины искривилось от омерзения, и она прижала к носу платок.

— Как они могут так жить? — спросила она с возмущенным изумлением в голосе. — Ведь нельзя же так жить!

Бернард философски пожал плечами.

— Можно или нельзя, но они так жили последние пять- шесть тысяч лет. Так что, я думаю, они уже к этому привыкли.

— Но ведь жить и чисто и опрятно— это форд-облагодатно!

— продекламировала Ленина.

— Да, а цивилизация — это стерилизация, — продолжил Бернард, ироническим тоном процитировав еще один афоризм гипнопедического урока основ санитарии и гигиены. —

Однако эти люди никогда и слыхом не слыхивали о Форде, и они — вовсе не цивилизованные. Но дело не в...

— О! — вдруг воскликнула Ленина, вцепившись

Бернарду в локоть. — Гляди!

С террасы второго этажа соседнего дома медленно спускался по лестнице необычайно дряхлый индеец, почти совершенно обнаженный; он осторожно опускал одну ногу на ступеньку, затем несколько секунд отдыхал и лишь затем, напрягаясь всем телом, переносил сверху на ступеньку другую ногу. Лицо у индейца было изрезано глубокими морщинами и почти черное, словно обсидиановая маска; беззубая челюсть отваливалась; редкие, длинные и совершенно седые волосы беспорядочными лохмами падали на лицо; иссушенное тело старика было согнуто почти под прямым углом; и сквозь дряблую кожу выпирали острые кости.

— Что с ним? — прошептала Ленина; в глазах у нее были изумление и ужас.

— Он очень стар, только и всего, — спокойно как мог ответил Бернард; он тоже был поражен, но старался сделать вид, что он — человек бывалый и это его нисколько не удивляет.

— Стар? — переспросила Ленина. — Но, например, наш Директор тоже стар, много есть старых людей, а ведь они так не выглядят.

— Потому что мы не позволяем им так выглядеть. У них нет болезней. Мы искусственно

сохраняем у них функции желез внутренней секреции такими, как в юности. Мы следим, чтобы у наших престарелых уровень кальция и магния оставался таким же, каким он был, когда этим людям было по тридцать лет. Мы переливаем им кровь молодых людей. Мы сохраняем их обмен веществ постоянно активным. Поэтому, само собой, наш Директор и другие люди его возраста не могут выглядеть такими развалинами. А еще и потому, что они, как правило, умирают задолго до того возраста, до которого дожил этот старик. Человек живет в добром здравии лет до шестидесяти, а потом — бах! — и конец.

Но Ленина не слушала. Она смотрела на старика. Старик медленно спустился вниз. Ноги его коснулись земли. Он повернулся. Вдавленные в глубокие орбиты, глаза его сверкали необычайно живо и ярко. Несколько мгновений старик смотрел на Ленину — без всякого выражения, без удивления, как будто ее вообще здесь не было. А затем, скрючившись, он заковылял прочь, завернул за угол и скрылся из виду.

— Ужасно! — прошептала Ленина. — Ужасно! Не нужно было нам сюда приезжать.

Она сунула руку в карман в поисках сомы — и обнаружила, что по оплошности оставила фла-

кон с таблетками в гостинице. У Бернарда сомы тоже с собой не было.

И вот Ленине пришлось приобщаться к ужасам Мальпаиса без обычного для нее транквилизаторного подспорья. Она покраснела и отвернулась, увидев двух женщин, кормивших грудью младенцев. В жизни своей Ленина не видела ничего столь непристойного! И, мало того, Бернард, вместо того чтобы тактично не заметить этой бесстыдной картины, начал объяснять Ленине, каким образом эти живородящие твари рожают и выращивают детей. Теперь, когда воздействие принятой утром сомы уже прошло, Бернарду было стыдно, что он тогда в гостинице поддался слабости, и вот он старался показать Ленине, какой он сильный и свободомыслящий.

— В этих близких отношениях людей есть что-то трогательное, — сказал он, намеренно стараясь казаться циником. — И какая страстность, какая сила чувств! Мне иной раз кажется: я что-то потерял из-за того, что у меня нет матери. А ты, Ленина, — ты, может быть, что-то потеряла от того, что н е стала матерью. Вообрази себе: ты сидишь, и у тебя свой ребенок...

— Бернард! Что ты говоришь! — в ужасе воскликнула Ленина, но в этот момент ее внимание

отвлекла старуха, у которой явно был кератоз и еще какая-то болезнь кожи.

— Пойдем отсюда! — заумоляла Ленина. — Мне здесь не нравится.

Но в этот момент вернулся их проводник и, сделав им знак следовать за собою, повел их по узкой улице между домами. Они завернули за угол и, поднявшись по лестнице, вошли в длинную узкую комнату, довольно темную и пропахшую дымом. В другом конце комнаты виднелась дверь, за которой было светло и раздавался грохот барабанов. Пройдя в эту дверь, Бернард и Ленина оказались на террасе. Под ними расстилалась площадь, в центре которой на подмостках сидели люди и били в барабаны, а вокруг кишела толпа.

Барабанный бой Ленине понравился: он был чем-то похож на синтетическую музыку, звучавшую на Фордослужениях Коллективизма и на праздновании Дня Форда. "Орды оргий!" — прошептала Ленина. Барабаны били точь-в-точь в ритме фордослуженческой литургии. Неожиданно толпа разразилась песней, мелодия которой была похожа на песни, исполнявшиеся во время коллективистских спевок низших каст.

Но дальше началось что-то иное, что-то совершенно немыслимое, чего Ленина себе даже и

представить не могла. Из толпы выступили танцоры — в страшных масках, с размалеванными телами — и закружились в дикой пляске. Затем долговязый старик — распорядитель празднества — выхватил откуда-то странный продолговатый ящик и раскрыл его, и к распорядителю с протянутыми вперед руками устремились танцоры. Старик сунул руку в ящик, вынул оттуда несколько змей, вложил их в первые дотянувшиеся до него руки и снова полез рукой в ящик. Все новые и новые танцоры выхватывали у распорядителя змей и, держа их в руках, продолжали свою бешеную пляску. А затем, по сигналу распорядителя, они стали швырять змей к его ногам; вскоре у его ног копошился целый клубок змей — тогда из толпы вышел какой-то старик и посыпал змей кукурузной мукой, а потом какая-то женщина полила их водой из кувшина. Тут распорядитель поднял руку — и шум, и движение словно отрезали: танцоры застыли как вкопанные, барабаны разом умолкли, наступила мертвая тишина. И медленно, медленно над головами людей поднялись из толпы с одной стороны площади — шест с насаженным на него раскрашенным изображением орла, а с другой — статуя человека, пригвожденного к кресту. Затем толпа

расступилась, и в круг вступил мальчик, голый по пояс,— сложив руки на груди и склонив голову, он остановился перед распорядителем. Тот осенил мальчика крестным знамением и отвернулся. Мальчик стал медленно двигаться вокруг клубка змей. Он уже заканчивал второй круг, когда к нему приблизился один из танцоров — в маске койота, с хлыстом в руке. Мальчик двигался, точно во сне, не замечая, что происходит вокруг. Человек-койот поднял хлыст и быстрым движением опустил его на спину мальчика. Мальчик дернулся, но, не издав ни звука, продолжал делать круги, будто ничего не случилось. Койот хлестал мальчика снова и снова, и на каждый удар толпа отзывалась уханьем. Мальчик неспешно двигался, на землю струилась кровь. Пятый круг, шестой, седьмой. Ленина закрыла лицо руками и стала причитать: "Останови их, останови!" Но хлыст неумолимо опускался и опускался. Седьмой круг. А затем мальчик, так и не издав ни звука, споткнулся, застыл на секунду и рухнул, лицом вниз, на землю. Склонившись над мальчиком, распорядитель провел по его ранам белым птичьим пером и, когда оно окрасилось багровым цветом, поднял перо вверх, напоказ толпе, а потом трижды потряс им над змеями.

Несколько капель крови упало с пера на змей, и в этот момент снова зазвучала барабанная дробь — сначала чуть слышно, но постепенно все громче и громче, пока не сделалась совершенно оглушительной. В толпе раздались крики и отчаянный визг, танцоры рванулись вперед, похватали с земли змей и помчались с площади, и все остальные — мужчины, женщины, дети — тоже опрометью ринулись прочь. Через минуту площадь была пуста. Тогда к лежавшему ничком мальчику подошли три старухи; они подняли его и унесли. На площади остался лишь человек с орлом и человек с фигурой распятого. Еще несколько минут они простояли неподвижно, словно стражи опустевшего пуэбло, а потом медленно, торжественно удалились.

Ленина продолжала хныкать.

— Ужасно! — повторяла она, и Бернард был не в силах ее успокоить. — Ужасно! Эта кровь! — она содрогнулась. — О, почему я забыла взять с собой сому?

В комнате, сквозь которую Бернард и Ленина прошли на террасу, послышались чьи-то шаги.

Юноша, вышедший из комнаты, был одет как индеец,но волосы у него были светлые, глаза — голубые, а кожа — белая.

— День добрый! — сказал незнакомец. — Мой вам привет, господа. Мнится мне, вы из цивилизованного общества, не правда ли? Из Внешнего Мира, который — там, за гранью Заповедника?

Он говорил на четком, ясном английском языке, но употреблял какие-то необычные слова и обороты.

— Какого... — в изумлении начал Бернард, но осекся.

Юноша вздохнул и покачал головой.

— Вы видите перед собою несчастнейшего из смертных, — сказал он и указал на пятна крови в центре площади. — Видите это проклятое место?

— Когда проглотишь кубик сомы, все беды станут невесомы, — заученно произнесла Ленина. — О, какая же я была дура, что забыла свою сому в гостинице!

— Там подобало быть мне,— продолжал юноша. — О, почему они не дозволили мне принести себя в жертву? Я мог бы вынести десять, двенадцать кругов — а может статься, даже пятнадцать. А Палоутива лишился чувств после седьмого круга. Моя плоть источила бы вдвое больше крови. Но мне не дозволили. Им не по нраву цвет моей кожи. И так было всегда. Всегда.

В глазах юноши блестели слезы. Мучимый сты-

дом, он опустил голову.

Ленина была так удивлена, что даже забыла про свою сому.

— То есть, вы имеете в виду, что вы хотели быть там?

— спросила она. — Хотели, чтобы вас хлестали кнутом?

Юноша кивнул.

— На благо нашего родимого пуэбло. Ради того, чтобы тучи разверзлись дождем и у нас вырос маис. И дабы умилостивить Поконга и Иисуса. И дабы показать, что меня не страшит боль. Да! — голос юноши задрожал гордостью. — Дабы доказать, что я не ребенок, но муж!

Ленина улыбнулась юноше. "А он красивый, — подумала она, — и у него сильное, крепкое тело". Юноша покраснел и отвел глаза; затем он поднял их снова и увидел, что Ленина все еще ему улыбается; он снова отвел взгляд и сделал вид, что его заинтересовало что-то, находившееся внизу на площади.

В это время в беседу вмешался Бернард. Он стал задавать юноше вопросы. Кто он такой? Как сюда попал? Когда? Откуда? Юноша попытался ответить как можно обстоятельнее. Он и Линда — Линда была его мать (при этом неприличном

слове Ленина дернулась) — считались в Заповеднике чужаками. Линда приехала в Заповедник из Внешнего Мира — это было давным-давно, еще до того, как он родился, — приехала вместе с человеком, который был отцом юноши (Бернард навострил уши). Она пошла одна гулять по горам, оступилась, упала с обрыва, ударилась головой о камень и потеряла сознание...

— Ну, ну, дальше! — в возбуждении сказал Бернард.

Линду нашли охотники из Мальпаиса, они принесли ее в

пуэбло и выходили. Что же до человека, с которым она приехала в Заповедник, — человека, который был отцом юноши, — то Линда его с тех пор ни разу не видела. Его звали, кажется, Томас (Бернард вздрогнул: таково было имя Директора ИЧП). Он, наверно, улетел прочь — назад во Внешний Мир, — улетел прочь без Линды, напрочь забыл о ней — злой, бездушный, бессердечный себялюбец.

— И вот я родился в Мальпаисе, — закончил юноша и покачал головой. — В Мальпаисе.

Жалкая, нищая хижина на окраине пуэбло.

От деревни хижину отделял заваленный мусором пустырь, по которому в поисках пищи

рыскали собаки. В хижине был полумрак, чем-то пахло, кружились мухи.

— Линда! — позвал юноша.

— Иду! — ответил хриплый женский голос из другой комнаты.

Дверь отворилась, и через порог переступила располневшая блондинка средних лет. Увидев незнакомцев, она открыла рот и замерла. Ленина с отвращением заметила, что у блондинки не хватает двух передних зубов. А остальные зубы — о, какого они были цвета! Ленину пробрала дрожь. Эта уродина выглядела еще противнее, чем тот старик у входа в пуэбло: жирная, морщинистая, с обветренной, задубевшей кожей, с набрякшими венами на руках, с огромными грудями, вздутым животом, толстенными ляжками... О, она была куда противнее, куда противнее, чем тот старик...

И неожиданно это страшилище разразилось потоком слов, бросилось к Ленине с протянутыми руками и — О Форд! Форд! Форд! — прижало Ленину к груди, начало ее обнимать и целовать. Форд! Целовать — эта выдра, чем-то воняющая, грязная (небось, в жизни она ни разу не принимала ванны, не мылась под душем) да еще явно попахивающая спиртом. Ленина с силой оторва-

ла ее от себя.

И тут она увидела, что страшилище плачет.

— Ах, душечка моя, душечка моя! — вздрагивая, повторяла Линда. — Если бы вы только знали, как я счастлива! Ведь столько воды утекло! Наконец-то я вижу цивилизованного человека! Да, и цивилизованную одежду! Я думала, мне уже никогда в жизни не увидеть, как выглядит ацетатный шелк! — своими скрюченными пальцами с черными ногтями Линда погладила Ленину по рукаву. — А какие у вас восхитительные шорты из вискозного вельвета! Ах, душечка моя, знаете, а я ведь все еще храню свои старые платья, те, в которых я сюда приехала. Я вам их покажу. Но, конечно, материя уже вся разлезается. Джон вам, конечно, все рассказал. Чего мне только не пришлось вынести, просто страх и ужас — и ни грамма сомы! Единственное, что меня спасает, так это пропустить стаканчик мескаля, когда Попе мне его приносит — это мой сосед, — но после этого наутро так отвратно себя чувствуешь, что просто спасу нет, а если выпьешь пейотля, то еще хуже. И мне всегда становилось стыдно. Подумать только! Я бета-плюс — и у меня родился живой ребенок. Поставьте себя на мое место!

Ленина мысленно поставила себя на место

Линды — и вся содрогнулась.

— Ну, а что я могла поделать? — продолжала Линда. — Я и сама не понимаю, как это случилось. Я делала все мальтузианские упражнения, как положено, по счету: раз, два, три, и так далее, вы знаете, но все равно, это не помогло. А Абортивного Центра здесь, конечно, и в помине нет. Кета- ти, он все еще помещается в Челси? — Ленина кивнула. И там все еще полно народу по четвергам и по пятницам? — Ленина снова кивнула. — Такая изящная розовая стеклянная башня! А ночная река! — на глазах женщины снова заблестели слезы. — И потом летишь назад, принимаешь горячую ванну, делаешь вибровакуумный массаж... А здесь...

Женщина глубоко вздохнула, покачала головой, шумно высморкалась в пальцы и вытерла их о подол. Лицо Ленины невольно искривилось гримасой отвращения.

— О, прошу прощения! У меня теперь такие манеры... О, простите! Но что делать, если здесь днем с огнем не сыщешь носового платка? Помню, сперва меня просто мутило от всей этой грязи, никакой антисептики, никакой стерильности — но ко всему на свете привыкаешь. Вы и представить себе не можете, в какой грязи тут

живут люди. Я им объясняю, как малым детям: "Цивилизация — это стерилизация" или: "Радости нет и жизнь не мила без утепленного санузла", но, конечно, они этого просто не в состоянии понять. Да и откуда им это понять? Ну, так вот, в конце концов, знаете, я и привыкла. Да и как тут можно соблюдать чистоту, если нет горячей воды из крана? Посмотрите на мою одежду! Эта гнусная натуральная шерсть — разве ее можно сравнить с ацетатным шелком? Да ее же можно носить годами. А если она рвется, ее приходится штопать. Разве это жизнь? Я — бета-плюс, я работала в Отделе Оплодотворения, меня никто никогда не учил штопать одежду. Если появляется дырка, выбрасывай вещь вон и покупай новую. "Чем штопать, так лучше ухлопать", "от заплат не станешь богат" — разве не так? Но здесь все иначе. Здесь все словно с ума посходили. Все, что они делают, — это полнейшее безумие!

Тут Линда оглянулась вокруг и обнаружила, что Бернарда и Джона нет в комнате: они вышли из хижины и, расхаживая взад и вперед по пустырю, о чем-то оживленно беседовали. Линда склонилась к Ленине.

— Например, — прошептала она, — знаете, как они тут живут друг с другом? Это же просто

безумие, говорю вам, просто безумие! "Каждый человек принадлежит всем остальным людям" — не так ли? Ну, так вот, а здесь каждый человек принадлежит только одному человеку. И если вы спите с разными людьми, как положено, ваше поведение считается порочным и антиобщественным. Вас будут презирать и ненавидеть. Как-то раз ко мне явилась целая толпа этих жутких баб и закатила дикий скандал, потому что ко мне ходили их мужья. А почему бы и нет? И все они накинулись на меня, и... Это было так страшно, что просто не описать! Здешние женщины — они такие мерзкие, такие злые, жестокие. И, само собой, они и понятия не имеют о мальтузианских упражнениях, о колбах, о декантировании, и все такое прочее. И поэтому они все время только и делают, что рожают детей

— ну, просто, как собаки. Знали бы вы, как это отвратительно! И подумать только, что я... О Форд, Форд, Форд! Но, при всем при этом, Джон — это для меня все-таки большое утешение. Просто не знаю, что бы я без него делала! Хотя его ужасно угнетало, когда какой-нибудь мужчина... Даже когда он был еще мальчиком. Один раз — но он тогда уже был постарше — один раз он пытался убить беднягу Ванхусиву... Или это был Попе?

Только за то, что я время от времени ему отдавалась. Мне так и не удалось объяснить Джону, как должны вести себя цивилизованные люди. Понимаете, безумие — оно ужасно заразительно. Джон ведет себя так, словно он индеец. Конечно, это потому, что он с самого детства все время рос вместе с индейцами. Он многое у них перенял — даже несмотря на то, что они к нему так плохо относятся, не позволяют ему того, что позволяют другим. Но, быть может, это — и к лучшему: благодаря этому я могла хоть в какой-то степени его запрограммировать. Но как это было трудно, вы и представить себе не можете. Так много нужно знать — а меня ведь этому никогда не учили. Например, когда мальчик спрашивает, почему летает вертолет или кто сотворил мир, — что вы ему можете ответить, если вы всю жизнь проработали в Отделе Оплодотворения? А что бы в ы ему ответили?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Тем временем Бернард и Джон расхаживали взад и вперед по пустырю.

— Мне так трудно все это себе представить, — говорил Бернард. — Мы с вами словно жили на разных планетах, в разные эпохи. Живородящая

мать, и вся эта грязь, и собаки, и старики, и болезни. — Бернард покачал головой. — Это почти невозможно даже вообразить, пока не увидишь собственными глазами. Боюсь, мне этого не понять, если вы мне не объясните.

— Объясню что?

— Вот это.

Бернард махнул рукой в сторону пуэбло.

— И вот это.

Он показал на хижину.

— Все. Всю вашу жизнь.

— Но что я могу объяснить?

— Расскажите мне о вашей жизни. С самого начала. Все, что вы помните.

— Все, что я помню? — Джон нахмурился, помолчал с минуту и начал рассказывать.

Было очень жарко. Они поели маису и сладких черепах.

— Иди, ложись, крошка! — позвала Линда.

Они легли вместе на широкой кровати.

— Спой! — попросил мальчик.

И Линда запела:

Радости нет, и жизнь не мила
Без утепленного санузла.

А потом:

Спи спокойно, эмбрионочик,

Ба юшки-баю!
Светит красненький неончик
В колбочку твою.
Ты на полке был со всеми.
Но уже вот-вот
Декантироваться время
Для тебя прццет.
Будешь жить, забот не зная,
В радостном краю.
Эмбрионч ик, баю-баю,
Баюшки-баю!

Голос Линды становился все слабее и слабее... Мальчик засыпал...

А потом раздался какой-то шум, и он с испугом проснулся. У изножья кровати стоял чужой дядя — огромный, страшный. Он что-то сказал Линде — теми, другими словами, — и она рассмеялась. Она натянула простыню до подбородка, но чужой дядя стянул простыню вниз. Мальчик зарылся лицом Линде под мышку, а она положила ему руку на спину, и тогда он почувствовал себя спокойнее. А потом — теми, другими словами, которые мальчик понимал хуже, чем слова Линды, — она сказала чужому дяде:

— Нет, только не сейчас, не при Джоне.

Чужой дядя поглядел на мальчика, потом

перевел взгляд на Линду и произнес что-то непонятное, а Линда еще раз сказала:

— Нет!

Чужой дядя нагнулся над ними, он был такой большой, такой жуткий; его длинные черные волосы полоснули мальчика по голове, а Линда опять крикнула:

— Нет!

Он почувствовал, что она сильней прижала его к себе.

— Нет, нет!

Тогда чужой дядя взял мальчика за руку и крепко, больно ее сжал; мальчик громко закричал. Чужой дядя поднял мальчика в воздух (хотя Линда все еще держалась за него и повторяла: "Нет, нет!") и произнес какое-то резкое, короткое слово, и голос у него был очень сердитый, и тогда Линда почему-то отпустила мальчика.

Мальчик брыкался и извивался, но чужой дядя понес его к двери, распахнул ее пинком ноги, положил мальчика на пол в другой комнате, вернулся назад и запер за собой дверь. Мальчик поднялся и побежал к двери, подергал ее, но дверь не открывалась.

— Линда, Линда! — позвал он, но изнутри никто не ответил.

Он помнил себя в большой полутемной комнате; там были какие-то большие деревянные штуки, и к ним привязаны нити — много-много нитей; Линда объяснила, что на этих штуках женщины ткут одеяла. Линда велела мальчику сесть в углу и играть там с другими детьми, а сама пошла к женщинам. Он стал играть с детьми, и играл долго, но вдруг все женщины заговорили очень громко, и некоторые начали толкать Линду, а Линда заплакала. Она пошла к двери, и мальчик побежал за ней следом.

— Почему они сердятся? — спросил он.

— Я сломала одну вещь, — ответила Линда.

А потом она ожесточенно закричала:

— Откуда мне знать, как ткать эти проклятые одеяла? Дикари! Дикари!

Мальчик спросил, что такое дикари.

Когда они вернулись домой, у дверей их поджидал Попе, и он вместе с ними вошел в хижину. В руках Попе держал большую тыквенную бутыль с жидкостью, которая была похожа на воду; но мальчик знал, что это вовсе не вода, а какой-то напиток с неприятным запахом; этот напиток обжигает горло, и потом всегда кашляешь. Линда выпила немного этого противного напитка, и Попе тоже выпил, и тогда Линда стала хохотать

и говорить гораздо громче, чем обычно; а потом она, взяв бутыль, пошла вместе с Попе в спальню и заперлась там изнутри. Когда Попе ушел, мальчик вошел в спальню. Линда лежала в постели и спала так крепко, что ему не удалось ее разбудить.

Попе приходил довольно часто. Он говорил, что напиток в тыквенной бутыли называется "мескаль"; но Линда говорила, что для нее это — "сома", только потом разламывается голова. Мальчик терпеть не мог Попе. Он всех их терпеть не мог — всех, кто приходил к Линде. Как-то, вернувшись домой после того, как он играл с другими детьми, мальчик услышал из спальни голоса: там было несколько женщин, и они громко кричали и говорили какие-то слова, которых он не знал, но он почему-то понял, что это — нехорошие слова. И вдруг раздалось — фсст! фсст! ффсст! — такой звук бывает, когда хлещут кнутом мула. Мальчик кинулся в комнату; Линда лежала на кровати, лицом вниз, и кричала:

— Не надо, не надо!

Одна женщина держала Линду за руки, другая сщцела у нее на ногах, а третья действительно держала кнут и хлестала им Линду: раз, другой, третий; и при каждом ударе Линда истошно виз-

жала. Мальчик бросился к женщине с кнутом и изо всей силы вцепился зубами ей в руку; женщина вскрикнула и другой рукой дала мальчику такого пинка, что он упал. Пока он лежал, она три раза стегнула его кнутом. Никогда еще раньше ему не было так больно: его точно обожгли огнем.

— Линда, почему они тебя били? — спросил он потом, уже вечером.

Он плакал, потому что у него все еще болели рубцы от ударов кнутом, и еще потому, что люди такие жестокие и несправедливые, и потому что он — всего лишь маленький мальчик и ничего не может с ними сделать. Линда тоже плакала. Хотя она была взрослая, у нее тоже не хватало сил справиться с тремя женщинами. И с Линдой тоже поступили жестоко и несправедливо.

— Почему они тебя били? — повторил мальчик.

— Не знаю! Откуда мне знать? — ответила Линда. — Они говорят, что эти мужчины — их собственные муж- чины.

— Не плачь, Линда! Не плачь!

Он прижался к ней, обвил ручонками ее шею.

— Осторожней: плечо! — вскрикнула Линда и оттолкнула его так, что он ударился о стену.

— Дурачок! — и она ударила его по лицу.

— Линда! — крикнул он. — Мама, за что?

— Я тебе не мама! Я не мама!

— Но, Линда...

Она снова ударила его.

— Совсем дикарем стал! — закричала она. — Если бы не ты, я могла бы пойти к Инспектору Заповедника, и меня бы забрали отсюда. Но из-за тебя я этого сделать не могу. Я всю жизнь глаза не смогу поднять от стыда, что родила ребенка!

Она снова подняла руку, и он закрыл было глаза и съежился, снова ожидая удара; но удара не последовало. Когда он открыл глаза, он увидел, что Линда смотрит на него и улыбается. И вдруг она обхватила его руками и начала судорожно целовать.

Иногда Линда по нескольку дней вообще не вставала с постели. Или пила эту муторную жидкость, которую приносил Попе. Иногда она забывала вымыть мальчика. А иногда в доме было нечего есть, кроме холодных черепах.

Самые счастливые часы бывали у него тогда, когда Линда рассказывала про Внешний Мир.

— И ты правда могла пойти и летать, когда только захочешь?

— Да, когда только захочу.

Линда рассказывала ему про упоительную музыку, которая раздается из ящика, и про веселые игры, и про лакомства, от которых пальчики оближешь, и про картины, которые можно не только видеть, но еще ощупывать и нюхать, и про дома, высокие, точно горы, и про то, что во Внешнем Мире никто никогда не грустит и не сердится, и про то, что там каждый человек принадлежит всем остальным людям, а не кому-то одному, и про ящик, на стенке которого можно увидеть, что происходит хоть на другом конце земли, и про то, что все всегда счастливы — каждый день, каждый день...

К Линде постоянно приходили мужчины, и все разные. И скоро другие дети стали дразнить мальчика и показывать на него пальцами. Своими теми, другими словами они говорили, что Линда — плохая: они называли ее — он не понимал как, но понимал, что это что-то нехорошее. Кто-то сочинил про Линду издевательскую песенку, и мальчишки распевали ее по всему пуэбло. Мальчик кидал в них камнями, а они тоже кидались в него камнями. Однажды острый камень разбил ему щеку; кровь все шла и шла, и он пришел домой, весь заляпанный кровью.

Линда научила его читать. Куском угля она ри-

совала на стене картинки — сидящую кошку или ребеночка в бутылочке, — а ниже писала буквы. КОШКА У ОКОШКА. МАЛЫШКА В СТЕКЛЯШКЕ. Читать он научился легко и быстро. Когда он освоил настенные надписи, Линда открыла свой большой сундук и из-под смешных трусиков, которые она никогда не надевала, вынула тоненькую книжку (он и раньше ее много раз видел) .

— Когда ты будешь большой, — сказала Линда, — ты сможешь это прочесть.

Он гордо сказал, что он уже большой и хочет попробовать.

— Боюсь, тебе это не покажется очень увлекательным, — сказала Линда, — но это все, что у меня есть.

Он начал читать: "ХИМИЧЕСКОЕ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭМБРИОНА. ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СЛУЖАЩИХ ЭМБРИОННОГО СКЛАДА". Мальчику потребовалось добрых четверть часа, чтобы разобрать одно лишь заглавие. Он швырнул книгу на пол и заплакал.

Другие мальчишки все еще пели издевательские песенки про Линду, и они смеялись над ним, потому что он — такой оборванный. Линда не умела штопать одежду. В ее Внешнем Мире, по ее

словам, порванную одежду никогда не штопали, а просто выбрасывали вон и покупали новую.

— Оборвыш, оборвыш! — кричали мальчишки.

"А зато я умею читать, — думал он, — а они не умеют; они даже не знают, что это такое". Когда он вспоминал о том, что он умеет читать, насмешки мальчишек переставали его трогать. И однажды он снова попросил у Линды ее книжку и стал в ней разбираться. И чем больше мальчишки его дразнили, тем жаднее он читал. Скоро он мог уже бегло прочесть даже самые длинные слова; но он не понимал, что они означают, а когда он спрашивал Линду, она чаще всего не могла ему ничего толком ответить.

— Что такое химикалии? — спрашивал он.

— Ну, например, окись магния, или спирты, или двууглекислый кальций, и все такое прочее.

— Но что это такое, Линда? Как их делают? И откуда они берутся?

— Откуда я знаю? Их делают химики, а приносят их с Химического Склада. Не знаю. Я никогда не занималась химией. Я работала в Отделе Оплодотворения, на Эмбрион- ном Складе.

И так всегда — о чем бы он ни спросил. А вот у стариков из пуэбло — у них на все был четкий ответ.

— Семена всех людей и всех бессловесных тварей, семя солнца, и семя земли, и семя небосвода — все это сотворил Авонавилона из Тумана Вознесения. Ибо в подлунном мире — четыре чрева, и Он заронил семена в нижнее из них. И постепенно семена дали плоды...

Однажды (позже Джон подсчитал, что ему тогда было двенадцать с чем-то лет) он, вернувшись домой, обнаружил там книгу, которой раньше никогда не видел; она лежала на полу в спальне. Книга была очень толстая и, видимо, очень древняя: переплет был весь изъеден мышами, страницы пожелтели и сморщились. Он поднял книгу и раскрыл титульный лист. Книга называлась: "УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ".

Линда лежала на кровати и потягивала свой вонючий мескаль.

— Откуда эта книга?

— Попе принес, — ответила Линда. — Он нашел ее в одном из сундуков Антилопы Кивы. Небось, книга пролежала там несколько сотен лет. Я ее перелистала: чушь несусветная! Как видно, ее написали еще в доцивилизованную эпоху. Но ты можешь на ней попрактиковаться.

Линда сделала еще глоток мескаля, поставила

чашку рядом с кроватью, повернулась лицом к стене, икнула раз или два и уснула.

Он открыл книгу на первой попавшейся странице и прочел:

Нет, но жить
В бесстыщной похоти постели потной,
Предаться блуду, спариваясь в случке,
Как скот в хлеву.

Необычные, непонятные слова сразу же запали ему в мозг; они загромыхали там, подобно весеннему грому, застучали, как барабаны на летнем празднестве, зазвенели, точно Жатвенная Песня, — такие невыразимо прекрасные, что ему захотелось рыдать. Эти слова чем-то напоминали заклинание Митсимы, причитавшего над своими резными палочками, над своими костяшками и камушками — "Кьятла тсилу силокве силокве силокве, киас тсилу тсилу, тсит!"; но они были куда звучнее, чем ведовство Митсимы, потому что в этих словах было больше смысла и, главное, они были обращены к н е м у; и в этих словах, таких чудесных и лишь наполовину понятных, в словах, исполненных жуткой и чудесной магии, — в них говорилось про Линду — про ту самую Линду, которая лежала здесь и храпела, напившись мескаля, про Линду и Попе, про Линду и Попе...

Он все больше и больше ненавидел Попе.

Ведь можно улыбаться, улыбаться

И быть злодеем — низким, бессердечным,

Коварным и безжалостным злодеем...

Что означали эти слова? Доброй половины их он раньше никогда не слышал. Но в них была какая-то таинственная магия, и они продолжали стучать у него в мозгу, и ему показалось, что прежде он, по сути дела, никогда по-настоящему не ненавидел Попе, никогда по-настоящему не ненавидел его, потому что никогда не был способен выразить в словах, как он ненавидит Попе. А эти странные слова в книге и странная история, которую они рассказывали (он ничего в ней не мог понять, и все же она его взволновала, в ней было что-то чудесное, что-то чудесное), — эти слова и эта история раскрыли ему, как и за что он ненавидит Попе; и даже сам Попе стал теперь для него более жизненным, более реальным.

Однажды, вернувшись домой, он увидел, что Линда и Попе лежат вместе в постели. Они спали и оба громко храпели. Рядом с кроватью валялась пустая бутылка из-под мескаля.

Сердце у него словно куда-то провалилось. Он прислонился к стене, чтобы не упасть. "Низкий, бессердечный, коварный и безжалостный...". Как

барабанный бой, как Жатвенная Песня, как ведовские заклинания, слова сами собой повторялись и повторялись у него в мозгу. Кровь бросилась ему в голову, комната потемнела и поплыла перед глазами. Он сжал зубы. "Я убью его, убью, убью!" — повторил он про себя несколько раз. И вдруг откуда-то всплыли слова:

Когда уснет он спьяну, иль взъярится,

Иль будет любостраствоватъ на ложе...

Магия чудодейственных слов была на его стороне, магия объясняла и повелевала. Он вернулся из спальни в большую комнату. "Когда уснет он спьяну..." На полу у очага лежал тесак для резки мяса. Схватив тесак, он на цыпочках вернулся к двери спальни. "Когда уснет он спьяну, когда уснет он спьяну..." Он прыгнул через всю спальню и ударил... Кровь, кровь!.. Он ударил снова, пока Попе приподнимался на постели, и хотел ударить в третий раз, но тут почувствовал, что Попе схватил его за руку и — о, о! — с силой ее выкрутил. На плече у Попе вздулись два багровых шрама.

— Кровь, смотри, кровь! — завизжала Линда. — Смотри, кровь!

Ее всегда мутило при виде крови. Попе поднял другую руку — "чтобы ударить", — подумал мальчик и весь съежился, приготовившись к удару. Но

вместо этого рука Попе взяла его за подбородок и повернула его лицо так, что он вынужден был взглянуть Попе в глаза — и глядел в них долго-долго — долгие часы. И вдруг, против своей воли, он заплакал. А Попе расхохотался.

— Иди, — сказал он, употребив свое, индейское, слово. — Иди, мой храбрый Ахайита!

И, чтобы скрыть слезы, мальчик выбежал в другую комнату.

— Тебе пятнадцать, — сказал старик Митсима своими, индейскими, словами. — И теперь я буду учить тебя ладить изделия из глины.

Сидя на берегу реки, они принялись за работу.

— Сперва, — сказал Митсима, беря комок глины, — мы слепим маленькую луну.

Слепив шар, Митсима вдавил в него круглую форму, и получилась чашка. Медленно и неумело юноша старался подражать движениям рук старика. Получилось что-то уродливое и бесформенное.

— Ничего, в следующий раз будет лучше, — ободрил его Митсима и начал смачивать другой комок глины.

Мять глину, придавать ей форму, чувствовать, как пальцы приобретают сноровку, — неожиданно юноша почувствовал, что получает от

этого огромное удовольствие. Работая, он начал напевать:

— Пей витамин "Ц" — не будет прыщей на лице...

А потом:

— Улитка в песке, и рыбка в реке...

А старик Митсима тоже запел — запел песню об охоте на медведя.

Они трудились с утра до вечера — и это был радостный, счастливый день.

— А зимой, — сказал Митсима, — я научу тебя мастерить луки.

Он долго стоял перед домом. Наконец обряд внутри закончился. Открылась дверь, и они вышли. Впереди шел Кослу, протянув вперед сжатую в кулак руку, за ним семенила Киакиме, тоже крепко сжав кулак, словно там был драгоценный алмаз. Они двигались молча, и так же молча за ними следовали их братья и сестры, и двоюродные братья, и двоюродные сестры, а еще за ними шли родители и все старики и старухи их родни, а позади ступали старейшины.

Шествие вышло за околицу и двинулось по плато. На краю откоса все остановились, обратясь лицом к утреннему солнцу. Кослу разжал кулак; на ладони у него лежало несколько маисовых зе-

рен; Кослу подул на них, пробормотал несколько слов и подбросил зерна вверх, к солнцу. Киакиме сделала то же самое. Тогда вперед выступил отец Киакиме; подняв вверх посох, в один конец которого было воткнуто перо, он прочел длинную молитву, а потом швырнул посох к небу, как Кослу и Киакиме швыряли зерна.

— Свершилось! — громко провозгласил Митсима. — Да будете вы мужем и женой!

— Ну, — сказала Линда по пути домой, — понять не могу, из-за чего весь сыр-бор! Ради такой чепухи разводить всю эту канитель! В цивилизованном обществе, если юноша хочет девушку, так он просто... Джон, Джон, куда ты?

Но Джон, не слушая ее, уже бежал прочь, прочь, прочь — куда-нибудь, где он мог бы побыть один.

"Свершилось!" Джон все повторял и повторял слова Митсимы. "Свершилось! Свершилось!"... Ибо он уже давно, в тайне, яростно и безнадежно любил Киакиме... А теперь — свершилось...

Ему было шестнадцать лет.

— Одинок, всегда одинок! — сказал юноша.

Слова его, как эхо, отозвались в мозгу Бернарда. Одинок, одинок...

— И я тоже одинок, — сказал Бернард, почув-

ствовав в себе желание излить кому-нибудь душу. — Безумно одинок.

— Возможно ль это? — удивленно спросил Джон. — Мне сдавалось, что во Внешнем Мире... То есть Линда всегда говорила, что там никто никогда не бывает в одиночестве.

Бернард покраснел и смущенно уставился в землю.

— Видите ли, — пробормотал он, запинаясь, — я, наверно, не похож на других людей. Иногда бывает, что человек декантируется не таким, как все.

— О да, бесспорно! — юноша кивнул. — Тот, кто не схож с прочими людьми, всегда бывает одинок. Такова и моя участь. Знаете, ведь надо мной здесь все глумятся. Когда другие под покровом ночной тьмы удаляются в горы, дабы увидеть во сне свое священное животное, меня гонят прочь. И все же я сделал это сам. Пять дней и пять ночей я ничего не ел, а потом удалился в горы один.

Бернард снисходительно улыбнулся.

— Ну и как, приснилось вам что-нибудь?

Джон кивнул.

— Да. Но я не вправе поведать вам, что именно.

Он помолчал, а потом негромко добавил:

— И я свершил то, на что еще никто не отваживался. В знойный летний день я простоял с рассвета до заката на солнцепеке, распростершись у скалы и раскинув руки, подобно Иисусу, распятому на кресте.

— Ради Форда, почему?

— Я жаждал постичь, каково быть распятым на кресте.

— Но зачем?

— Зачем? Видите ли... — Джон поколебался. — Затем, что я ощущал: мне нужно это сделать. Если Иисус был в силах это снести... И, к тому же, если сделаешь нечто дурное... Опять же, я был несчастлив — то была еще одна причина.

— Странное вы выбрали лекарство от несчастий, — сказал Бернард.

Но в глубине души он почувствовал, что в поступке Джона есть, наверно, какой-то скрытый смысл. Во всяком случае, это лучше, чем принимать сому...

— Через некоторое время я лишился чувств, — продолжал юноша. — Я упал ничком. Видите, вот здесь я рассек кожу.

Джон приподнял прядь волос со лба и показал на шрам около правого виска. Бернард взглянул и, содрогнувшись, быстро отвел глаза. Запрограм-

мированное воспитание приучило его к тому, что раны и страдания — это что-то не просто неприятное, но отвратительное и отталкивающее.

— А вы не хотели бы поехать с нами в Лондон? — спросил Бернард, начиная свой первый маневр в той кампании, стратегию которой он начал обдумывать еще раньше, в хижине, когда впервые понял, кто именно был "отцом" этого юного дикаря. — Как бы вы на это посмотрели?

У юноши заблестели глаза.

— Вы это всерьез?

— Конечно. Если, разумеется, мне дадут разрешение.

— И Линду вы тоже возьмете?

— Видите ли...

Бернард заколебался. Взять с собой это вульгарное, нелепое существо! Нет, невозможно. Разве что... И тут Бернарду неожиданно пришло в голову, что именно ее вульгарность может как нельзя лучше сыграть ему на руку.

— Да, да, конечно! — с жаром воскликнул он, возмещая избытком горячности свое первое минутное колебание.

Юноша глубоко вздохнул.

— Подумать только, неужели затаенная мечта может стать явью! Я грезил об этом всю жизнь.

Помните, что говорит Миранда?

— Кто такая Миранда?

Но юноша даже не услышал вопроса.

— О чудо! — продекламировал он; глаза его горели, лицо сияло. — Как много добрых лиц! Как род людской прекрасен!

Неожиданно пламя в глазах юноши запылало еще ярче: он подумал про Ленину — про эту юную богиню в убранстве из зеленой вискозной ткани,— цветущую красотой, с холеной и надушенной кожей, округлую, гибкую, ласково улыбающуюся. Голос Джона задрожал.

— О счастливый новый мир! — воскликнул он, и вдруг осекся, кровь отлила у него от лица, он побледнел как мел. — Вы с ней в браке? — спросил он Бернарда.

— Я с ней в чем?

— В браке. Женаты. Навеки. Индейцы говорят: "навеки" — это значит, что союз между мужчиной и женщиной никогда не прекратится.

— О Форд, что вы, конечно, нет!

Бернард невольно рассмеялся.

Джон тоже рассмеялся, но по другой причине — от радости.

— О счастливый новый мир! — повторил он. — О счастливый новый мир, в котором есть такие

существа!

— Вы иногда говорите так необычно, — сказал Бернард, удивленно глядя на Джона. — Но, во всяком случае, погодите радоваться, пока вы собственными глазами не увидите этот новый мир.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ленина чувствовала, что после всех страхов и ужасов минувшего дня она заслужила право взять соматический выходной и как следует отдохнуть. Едва добравшись до гостиницы, она проглотила сразу шесть полуграммовых таблеток сомы, улеглась в постель и через десять минут погрузилась в лунное забытье. Должно было пройти часов восемнадцать, не менее, пока ей предстояло снова прийти в себя.

Тем временем Бернард бессонно таращился в темноту, ворочаясь с боку на бок, и размышлял. Когда его наконец сморило сном, было уже далеко за полночь. Но бессонница принесла свои плоды: Бернард обдумал и выработал план действий.

На следующее утро, ровно в десять ноль-ноль, перед гостиницей приземлился вертолет, и из него вышел пунктуальный охранник-окторон в зеленой униформе. Бернард уже ждал его в тени под агавой.

— Мисс Краун взяла соматический выходной, — объяснил он. — Раньше пяти она не вернется. В нашем распоряжении семь часов.

У Бернарда было с лихвой времени, чтобы слетать в Санта- Фе, сделать все дела и вернуться в Мальпаис до того, как Ленина очнется.

— Как, по-вашему, ей вполне безопасно оставаться здесь одной? — спросил Бернард.

— Безопасно, как в вертолете, — заверил окторон.

Они забрались в вертолет и, не теряя времени, пустились в путь. В десять часов тридцать четыре минуты вертолет опустился на крышу Центрального Почтамта Санта-Фе. В десять тридцать семь Бернард набрал номер Всемирного Правительственного Управления в Уайтхолле. В десять тридцать девять он уже беседовал с четвертым личным секретарем Его Фордства. В десять сорок четыре он повторил свой рассказ первому секретарю. А в десять сорок семь трубку соблаговолил взять сам Его Фордство Мустафа Монд собственной персоной.

— Я позволил себе предположить, — заикаясь, промямлил Бернард, — что Вашему Фордству этот случай может показаться не лишенным определенного научного интереса...

— Да, я нахожу, что этот случай действительно не лишен определенного научного интереса, — зарокотал в ухе Бернарда глубокий, звучный бас Правителя. — Везите этих двух индивидуумов в Лондон.

— . Вашему Фордству известно, что мне необходимо специальное разрешение...

— В данную минуту, — сказал Мустафа Монд, — Главному Хранителю отсылаются необходимые распоряжения. Немедленно проследуйте в Дирекцию Заповедника. Всего хорошего, мистер Маркс.

В трубке раздался щелчок, и все смолкло. Бернард повесил трубку и помчался на крышу.

— В дирекцию Заповедника, — бросил он октороно.

В десять пятьдесят четыре Бернард вошел в кабинет Главного Хранителя.

— Рад вас видеть, мистер Маркс, рад вас видеть, — залебезил Главный Хранитель. — Мы только что получили специальное распоряжение насчет...

— Знаю, — прервал его Бернард. — Несколько минут назад я беседовал по телефону с Его Фордством.

Бернард произнес эти слова намеренно небреж-

ным тоном, как бы намекая, что у него в обычае каждый день запросто беседовать с Его Фордством.

— Будьте любезны, — добавил Бернард, усаживаясь в кресло, — позаботьтесь, чтобы как можно скорее были приняты все необходимые меры. Как можно скорее! — повторил он многозначительно, наслаждаясь своим начальственным положением.

В одиннадцать ноль три Бернарду были вручены необходимые бумаги. Он сунул их в карман и откланялся.

— Пока! — покровительственно сказал он Главному Хранителю, который подобострастно проводил его до дверей лифта.

Затем Бернард отправился в отель, принял ванну и вибро- вакуумный массаж, побрился электролитической бритвой, послушал последние известия, с полчаса посидел у телевизора, вкусно пообедал в ресторане и в половине третьего вылетел вместе с октороном обратно в Мальпаис.

Юноша остановился у входа в гостиницу.

— Бернард! — крикнул он. — Бернард!

Никто не отозвался.

Джон поднялся по ступенькам и подергал

дверь. Дверь не открывалась.

Уехали! Уехали! Еще никогда в жизни он не испытывал такого горестного разочарования. Накануне Бернард с Лениной пригласили его прийти, а нынче их не было. Джон сел на ступеньки крыльца и заплакал.

Когда он посидел с полчаса и немного успокоился, ему пришло в голову заглянуть в номер через окно. Первое, что бросилось ему в глаза, был зеленый чемодан с инициалами "Л.К.". Джона захлестнула радость. Он схватил камень. Брызнули осколки стекла; и через секунду Джон был уже в комнате. Он открыл зеленый чемодан, и в нос ему ударил острый залах духов, наполнив его легкие неотъемлемой сущностью Ленины. Сердце у Джона бешено заколотилось; он чуть было не потерял сознания. Затем он нагнулся над чемоданом. Он перебрал ее одежду (сначала она его озадачила, но он быстро понял, как расстегивать молнии), платки, туфли. Открыв какую-то коробочку, он оказался в облаке благоухающей пудры; в носу у него защекотало...

— Ленина! — прошептал он. — Ленина!

Неожиданно Джон услышал какой-то неясный шум. Он испуганно вскочил, быстро запихал все вещи обратно в чемодан — и прислушался, потом

огляделся. Ни души. Ни звука. Но он явственно что-то слышал — что-то, похожее то ли на вздох, то ли на треск рассыхающейся половицы. Джон на цыпочках подошел к двери, ведущей куда-то внутрь дома, и осторожно ее приоткрыл. Перед ним был небольшой коридорчик, а в конце его —другая дверь, открытая настежь. Джон подошел к ней и заглянул внутрь.

За дверью была спальня с широкой низкой кроватью, и на ней, в изящной пижаме, застегнутой на молнию, спала Ленина — такая прекрасная в своей непробудной дреме, такая нежная и невинная, такая кроткая и беспомощная, что Джон едва не разрыдался.

Стараясь двигаться как можно бесшумнее (совершенно излишняя предосторожность, ибо Ленину из ее соматического выходного могла бы вернуть раньше срока разве что пушечная пальба), Джон вошел в спальню и опустился на колени перед кроватью. Он посмотрел на Ленину, сжал руки, губы его зашевелились.

— Ее глаза... — прошептал он.

Ее глаза, уста, походка, голос!
Ее рука — столь белая, что рядом
Любая белостъ выглядит чернилом,
Расписываясь в черноте своей, —

Столь нежная, что даже юный лебедь
В сравненье с нею жесток и шершав...
Около лица Ленины зажужжала муха. "Мухи", — припомнилось ему.
Им разрешено
Касаться чуда белых рук Джульетты
И красть блаженство рая с губ невинных,
Что в девственной стыдливости краснеют,
Когда целуются одна с другой
Осторожно, медленно, как будто желая погладить очень пугливую или, возможно, опасную птицу, Джон протянул руку. Рука, дрожа, остановилась у самых губ Ленины, вот- вот готовая к ним прикоснуться. Осмелится ли он? Осмелится ли осквернить своей недостойной рукой эти... Нет, он не осмелится. Птица оказалась слишком опасна. Джон отдернул руку. О, Ленина! Как она прекрасна! Как прекрасна!
Вдруг Джону пришло в голову, что стоит ему взяться за молнию на пижаме — и он может одним, быстрым, резким движением... Нет! Он закрыл глаза и потряс головой, как трясет головой собака, вылезшая из воды. Красть блаженство рая с губ невинных, что в девственной стыдливости краснеют...
В воздухе послышалось какое-то жужжание.

Еще одна муха, прилетевшая касаться чуда белых рук? Или оса? Джон огляделся, но не увидел ни мухи, ни осы. Однако жужжание делалось все громче и громче, и Джон смекнул, что оно доносится снаружи. В испуге он вскочил на ноги, опрометью кинулся через коридорчик в другую комнату, пулей выскочил в разбитое окно и, стремглав пронесшись по аллее, обсаженной агавами, как раз поспел встретить Бернарда Маркса, вылезавшего из вертолета.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В "производственном улье", как Директор ИЧП любил называть подведомственные ему учреждения, рабочий день был в полном разгаре. Стрелки четырех тысяч электрических часов в четырех тысячах комнат Питомника показывали ровно двадцать семь минут третьего, когда дверь Отдела Оплодотворения отворилась и туда вошел Директор, следом за которым семенил Генри Фостер. Лицо у Директора было суровое и торжественное.

— Пусть этот случай послужит для всех поучительным примером! — высокопарным тоном заявил Директор. — Здесь, в Отделе Оплодотворения, работает больше сотрудников из высших

каст, чем где бы то ни было в ИЧП. Поэтому я приказал ему явиться именно сюда, ровно в половине третьего.

— Он хороший работник, — сказал Генри Фостер с лицемерным великодушием.

— Знаю! — отрезал Директор. — Тем больше оснований публично разоблачить его и поступить с ним по всей строгости. Кому много дано, с того много и спрашивается. Его высокое интеллектуальное развитие обусловливает столь же высокую моральную ответственность. Однако, увы, моральный облик мистера Маркса далеко не на высоте. А чем умнее и способнее тот, кто стал проводником антиобщественной идеологии, тем вреднее может оказаться его тлетворное воздействие на окружающих. Уж лучше пусть пострадает один человек, чем под его пагубное влияние попадут многие. Рассудите здраво, мистер Фостер, и вы поймете, что нет и не может быть более серьезного проступка, чем моральное разложение и антиобщественное поведение. Убийство губит лишь отдельного индивидуума; но, в конце концов, что такое отдельный индивидуум? — Директор широким жестом указал на ряды микроскопов, лабораторных пробирок и инкубаторов. — Мы можем без труда сотво-

рить нового индивидуума, множество новых индивидуумов, столько, сколько захотим. А вот аморальное и антиобщественное поведение ставит под угрозу нечто большее, чем жизнь какого-то единичного индивидуума, оно угрожает самому Обществу. Да, самому Обществу! — повторил Директор. — Но вот и он.

Бернард, вошедший в помещение Отдела точно в назначенное время, шел между рядов лабораторных столов по направлению к Директору и Фостеру. На лице у него застыло выражение желчной самоуверенности, скрывавшее внутреннюю нервозность.

— Доброе утро, Директор! — произнес он неестественно громко, а затем, исправляя свой промах, снизил голос почти до шепота. — Вы просили меня явиться к вам сюда.

— Вот именно, мистер Маркс, — напыщенно сказал Директор. — Я просил вас явиться сюда. Как я понимаю, вчера вечером вы вернулись из отпуска?

— Да, — ответил Бернард.

— Да, — повторил Директор.

Затем он возвысил голос.

— Леди и джентльмены! — трубно провозгласил он. — Леди и джентльмены!

Деловой шум, царивший в помещении отдела, сразу же прекратился. Все прервали свою работу и разом повернулись к Директору. Наступила мертвая тишина.

— Леди и джентльмены! — повторил Директор в третий раз. — Извините, что я отрываю вас от вашей трудовой деятельности. Сделать это меня побуждает тягостный долг. Дело в том, что безопасность и устойчивость нашего Общества — под угрозой. Да, под угрозой, леди и джентльмены! Вот этот человек, — Директор дбвиняющим перстом указал на Бернарда, — этот человек, стоящий перед вами, этот аль- фа-плюс, которому столь много было дано и от которого поэтому столь многого можно было ожидать, этот ваш сослуживец — или, пожалуй, мне следовало бы сказать "бывший сослуживец" — он самым низким образом обманул оказанное ему доверие. Своими оголтелыми антиобщественными выпадами против спортивных игр и против употребления сомы, своим разнузданным аморальным поведением в личной жизни, своим демонстративным нежеланием следовать единственно верному учению Нашего Форда и вести себя в свободное от работы время так, как подобает себя вести морально здоровому члену

коллектива, — тут Директор осенил себя буквой "Т", — этот разложившийся элемент показал, что он — Враг Общества, замаскированный вредитель и заговорщик, носитель чуждых нам взглядов и чуждой морали, ведущий злостную деятельность с целью подрыва и ослабления Порядка и Устойчивости и уничтожения завоеваний Цивилизации. Поэтому я намерен дать должную оценку его фордопротивному поведению и с позором освободить его от исполнения служебных обязанностей в нашем Питомнике. Сместив этого распоясавшегося двурушника с занимав-мого им поста, я намерен ходатайствовать о том, чтобы предоставить ему возможность работать на другом участке и перевести его в один из наших самых отдаленных и малозначительных филиалов, где он мог бы упорным трудом искупить свою вину перед Обществом и доказать, что прежние ошибки послужили ему уроком и что он сделал из них соответствующие выводы. Я собираюсь направить его на работу в Исландию: там, в местах, как можно более отдаленных от сколько-нибудь крупных населенных центров, у него будет мало возможностей своим антиобщественным и аморальным поведением оказывать вредное влияние на окружающих.

Директор умолк, сделал многозначительную паузу и, сложив руки на груди, с внушительным видом повернулся к Бернарду.

— Маркс, — сказал он. — Можете ли вы в свое оправдание привести какой-нибудь довод, доказывающий, что мне не следует подвергать вас наказанию?

— Да, могу! — очень громким голосом ответил Бернард.

Директор, не ожидавший такого оборота, на секунду оторопел, но тут же нашелся и с еле уловимой усмешкой величественно произнес:

— Ну, что ж, приведите этот довод.

— Сейчас приведу: он уже у порога, — сказал Бернард.

Он подошел к двери, открыл ее и приказал:

— Войдите!

И довод, войдя в помещение Отдела, предстал перед Директором во плоти и крови.

По Отделу пронеслись сдавленные возгласы изумления и ужаса; какая-то девушка громко вскрикнула; кто-то, встав на стул, чтобы лучше видеть, ненароком опрокинул две пробирки со сперматозоидами. Сутулая, обрюзгшая, выглядевшая особенно безобразно среди всех этих здоровых, крепких тел и ясных, без единой мор-

щинки, лиц, в комнату вплыла Линда — живое олицетворение старческого уродства. Ее губы кокетливо искривились в жалкой, бесформенной улыбке; и она своей вихляющей (и, по ее мнению, чувственной) походкой, тряся огромными грудями, направилась прямо к Директору. Бернард шел рядом с ней.

— Вот он, — сказал Бернард, указывая пальцем на Директора.

— Неужели вы думаете, что я бы его не узнала? — возмущенно спросила Линда.

Затем она повернулась к Директору.

— Конечно, Томас, я тебя узнала. Да я бы тебя узнала где угодно, хоть среди тысячной толпы. А ты, небось, меня забыл? Ну, не узнаешь? Неужели ты не узнаешь меня, Томас? Не узнаешь свою Линду?

Она глядела на него, склонив голову на бок, все еще улыбаясь; однако, столкнувшись с выражением явного омерзения на лице Директора, эта улыбка становилась все менее и менее самоуверенной и наконец угасла.

— Неужели ты не узнаешь меня, Томас? — повторила Линда дрожащим голосом, с надеждой в глазах, и ее оплывшее, морщинистое лицо исказилось печальной гримасой.

— Томас! — еще раз крикнула она и протянула к Директору руки.

Кто-то начал хихикать.

— Как это понять? — воскликнул Директор. — Что это за мерзкая...

— Томас! — взвизгнула Линда и, ринувшись вперед, обвила руками шею Директора и прильнула к его груди.

Сотрудники не могли удержаться от смеха.

— Что это за мерзкая шутка? — заорал Директор.

Весь пунцовый, он пытался освободиться от объятий Линды, но она отчаянно цеплялась за его рубашку.

— Я — Линда, я — Линда! — кричала она, но ее крики заглушал всеобщий хохот. — Ты сделал мне ребенка! — истошно завопила Она, так, что на этот раз ее все услышали.

И тут все, как по команде, смолкли — и смущенно уставились в пол. Директор неожиданно побледнел, застыл, перестал сопротивляться и в ужасе уставился на Линду.

— Да, ребенка! — повторила она. — Из-за тебя я стала матерью.

Она выкрикнула эту непристойность, как бы бросая вызов наступившей тишине; а потом,

вдруг оторвавшись от Директора, залилась краской стыда и, закрыв лицо руками, начала всхлипывать.

— Томас, это была не моя вина, — запричитала Линда. — Я ведь всегда делала все мальтузианские упражнения, ты же знаешь. Всегда... Я и сама не знаю, как это получилось... Если бы ты знал, Томас, как это было ужасно! Томас! Но все равно, он мне был большое утешение, правда...

Она повернулась к двери и позвала:

— Джон! Джон!

В дверях появился Джон. Он несколько секунд помедлил, огляделся по сторонам, и, неслышно ступая в своих мягких мокасинах, прошел вдоль лабораторных столов, и, упав на колени перед Директором, отчетливо произнес:

— Отец мой!

Это слово (считавшееся куда менее неприличным, чем слово "мать", которое прямо намекало на такую мерзость, как акт деторождения, тогда как слово "отец" было просто грубым, но отнюдь не порнографическим) — это комичноскабрезное слово разрядило напряжение, казавшееся уже невыносимым, и раздался оглушительный взрыв совершенно истерического хохота; за первым взрывом последовал другой, третий — все сотруд-

ники Отдела тряслись, корчились, извивались от смеха и не могли успокоиться. Отец мой! — и это был не кто иной, как сам Директор. Отец мой! О Форд, о Форд! Вот уж вправду умора! Раскаты хохота следовали один за другим, лица исказились, из глаз текли слезы. Было опрокинуто еще шесть пробирок со сперматозоидами. Отец мой!

Бледный, с выпученными глазами, Директор, как затравленный зверь, униженно огляделся вокруг.

Отец мой! Хохот, уже начавший было затихать, разразился с новой силой. Директор зажал руками уши и кинулся прочь.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

После того что произошло в Отделе Оплодотворения, весь высшекастовый Лондон словно обезумел и ринулся смотреть на этого очаровательного Дикаря, который упал на колени перед Директором ИЧП — или, точнее говоря, бывшим Директором, ибо бедняга в тот же день подал в отставку и более не переступал даже порога Питомника, — хлопнулся на колени перед Директором и (такого даже нарочно не придумаешь!) назвал его "отцом". Линдой же, напротив, никто не интересовался, все ее избегали, никто не вы-

сказывал желания с ней познакомиться. Слово "отец" звучало еще как милая грубоватая фривольность, но назвать женщину "матерью" — это была уже не шутка, а грязная похабщина. Ну, и, кроме всего прочего, сама Линда ведь была не из дикарей, она некогда декантировалась из колбы и получила программированное человеководческое воспитание, как все нормальные люди, так что ее никто не воспринимал как экзотику. Наконец (и в этом, наверно, крылась главная причина, почему никто не жаждал посмотреть на Линду), ее внешность отнюдь не располагала к общению. Жирная, обрюзгшая, преждевременно постаревшая, морщинистая, с гнилыми зубами, с бесформенной фигурой (о Форд!) : посмотреть на нее, так просто тошно становилось— правда, тошно. И поэтому все приличные люди твердо решили не знакомиться с Линдой. Линда, со своей стороны, тоже не имела ни малейшего желания водить с ними знакомство. Возвращение к цивилизации означало для нее возвращение к соме, к возможности целыми днями валяться на кровати и брать один соматический выходной за другим — притом без головных болей и тошноты, которыми прежде сопровождалось неумеренное потребление пейотля и мескаля. Сома не давала

никаких неприятных побочных эффектов. И поэтому Линда пребывала в почти перманентном соматическом отпуске. Она жадно требовала все более сильных и более частых доз сомы. Доктор Шоу сперва противился, а потом махнул рукой и стал прописывать Линде столько сомы, сколько ей хотелось. Дошло до того, что она иной раз принимала до двадцати граммов вдень.

— Это убьет ее в два-три месяца, — сказал доктор Шоу по секрету Бернарду Марксу. — В один прекрасный день у нее парализуется респираторный центр. Дыхание остановится, и наступит конец. И это, наверно, к лучшему. Если бы мы умели возвращать молодость, то, конечно, все было бы иначе. Но ведь возраст — вещь необратимая.

Ко всеобщему изумлению, Джон, узнав, что Линда потребляет столько сомы, стал против этого возражать (непонятно, почему: ведь Линда во время своих соматических выходных и сама блаженствовала и никому не мешала).

— Не сокращаете ли вы ей жизнь тем, что прописываете ей столько сомы? — спросил Джон доктора Шоу.

— В некотором смысле да, — признал доктор Шоу. — Но в другом смысле мы даже продлеваем ей жизнь.

Юноша непонимающе уставился на доктора.

— Из-за злоупотребления сомой, — пояснил доктор, — вы можете прожить на несколько лет меньше во времени. Но подумайте, какие долгие, воистину неизмеримые сроки жизни дает вам сома вне времени. За несколько часов соматического забытья вы переживаете столько удивительных приключений, на сколько в реальной жизни вам понадобились бы многие месяцы. Каждый соматический выходной — это частичка того, что наши предки называли вечностью.

Джон начал понимать.

— В очах, в устах у них скрывалась вечность, — прошептал он.

— Что вы говорите?

— Ничего.

— Разумеется, — продолжал доктор Шоу, — нельзя позволять людям постоянно погружаться в вечность, если они занимаются серьезной работой. Но ведь Линда никакой серьезной работой не занимается...

— И все-таки, — сказал Джон, — мне кажется, что это неверно.

Доктор пожал плечами.

— Конечно, — сказал он, — если вы предпочитаете, чтобы она все время визжала и скулила...

В конце концов Джон вынужден был сложить оружие. Линда стала получать столько сомы, сколько было ее душе угодно. И она почти не выходила из своей комнатки на тридцать седьмом этаже жилого дома, в котором жил и Бернард: она лежала в кровати, включив на полную мощность одновременно и телевизор и радио и слегка приоткрыв парфюматор, чтобы из него постоянной тонкой струйкой текли острые, пахучие духи "пачули", и постоянно держала на туалетном столике таблетки сомы, которые в любую минуту можно было взять, стоило только протянуть руку. И так Линда целыми днями лежала, погрузившись в соматическое забытье, витая разумом где-то далеко-далеко, в бесконечных далях, в других мирах, в которых музыка, несшаяся из радиоприемника, преображалась в лабиринты ярких сладкозвучных красок, краски, переливавшиеся на экране телевизора, пели нежными, радужно расцвеченными голосами, а медленно точащиеся духи "пачули" не просто ласкали обоняние восхитительным ароматом, но воплощались в солнце, в миллионы сексофонов, в страстные любовные ласки Попе — только еще более страстные и упоительные, несравнимо более упоительные и никогда не прекращающиеся.

— Нет, мы не умеем возвращать молодость, — сказал доктор Шоу, — и слава Форду, что не умеем. Но я очень рад, что мне представилась возможность наблюдать такой интересный клинический случай крайнего одряхления человеческого организма. Большое вам спасибо, что вы продемонстрировали мне эту пациентку.

И он тепло пожал Бернарду руку.

Итак, Линда никого, кроме врачей, не интересовала; но весь лондонский высшекастовый свет охотился за Джоном. А увидеть его можно было только с позволения Бернарда, которому поручили официальное шефство над юным Дикарем. Впервые в жизни Бернард почувствовал, что с ним обращаются не только так же, как со всеми, но еще и особенно почтительно, как с человеком необыкновенным и выдающимся. Разом были забыты все толки про спирт, добавленный когда-то в суррогат крови Бернарда, прекратились все шуточки насчет его внешности. Генри Фостер, встречая Бернарда, расплывался в улыбке и всем своим видом изображал крайнее дружелюбие. Бенито Гувер при первой же возможности подарил Бернарду шесть пачек жевательной резинки с сексуальными гормонами. Заместитель Начальника Отдела Социального Предопределения

всеми правдами и неправдами добивался, чтобы Бернард пригласил его к себе на коллективистскую вечеринку. Что же до женщин, то стоило Бернарду лишь отдаленно намекнуть — и все они ложились под него штабелями.

— Бернард пригласил меня в следующую среду на вечеринку с Дикарем, — торжествующе объявила Фанни.

— Что ж, я очень рада, — ответила Ленина. — И ты должна теперь признать, что ошибалась насчет Бернарда. Разве он не милый?

Фанни кивнула.

— И, должна сказать, — добавила Ленина, — я была приятно удивлена.

Начальник Отдела Бутылирования, Начальник Отдела Социального Предопределения, двое Докторов Человеководческих Наук, Заведующий Кафедрой Чувствилища в Инженерно-Эмоциональном Колледже, Настоятель Вестминстерского Коллективистского Собора, Министр Инкубаторно- Человеководческой Промышленности, Главный Бокановски- фикатор — бесконечен был список высокопоставленных лиц и знаменитостей, бывавших на вечеринках у Бернарда.

— На прошлой неделе я имел шестерых девушек, — поделился он с Гельмгольцем Уотсоном.

— Одну в понедельник, двух во вторник, еще двух в пятницу и одну в воскресенье. Будь у меня время и охота, я бы поимел еще не меньше дюжины: желающих хоть отбавляй.

Гельмгольц выслушал похвальбу Бернарда молча и с таким неодобрительным выражением лица, что Бернард почувствовал себя уязвленным.

— Ты что, завидуешь? — спросил он.

Гельмгольц покачал головой и ответил:

— Мне просто грустно, вот и все.

Бернард рассердился и решил, что больше никогда с Гельмгольцем не будет разговаривать.

Шли дни, популярность все больше кружила Бернарду голову; и наконец сладкий дурман успеха, как всякий сильный дурман, совершенно примирил его с тем Обществом, в котором он еще недавно чувствовал себя так неуютно. Как только Общество признало Бернарда и вознесло его, оно сделалось очень даже хорошим. Однако, смирившись благодаря своей популярности с существующим общественным порядком, Бернард тем не менее отнюдь не отказался от привычки вольнодумно критиковать этот порядок. Ибо сам акт вольнодумства возвышал Бернарда в собственных глазах. Более того, он искренне верил,

что в окружающем его мире вполне есть что критиковать (и в то же время он наслаждался своей популярностью и своим успехом у женщин). Перед людьми, которые теперь благодаря Дикарю курили ему фимиам, Бернард красовался своим свободомыслием. Его вежливо выслушивали. Но у него за спиной многие покачивали головами.

— Этот юноша плохо кончит, — говорили они. — И мы еще, дай срок, своими глазами увидим, как он плохо кончит. А тогда ему, глядишь, не подвернется другой Дикарь, который вызволит его в трудную минуту.

Однако пока суд да дело, а теперь в распоряжении Бернарда был последний крик нынешней моды — первый Дикарь, — и все вели себя более чем предупредительно. А коль скоро все вели себя более чем предупредительно, Бернард ощущал себя великаном — и в то же время он парил в эмпиреях на крыльях возбуждения, ему казалось, что он стал каким-то очень легким, легче воздуха.

— Легче воздуха, — сказал Бернард, указывая вверх.

Как жемчужина, в небе — высоко, высоко над ними — в солнечных лучах розовел воздушный шар Метеорологического Управления.

("...Вышеназванному Дикарю, — говорилось в выданной Бернарду инструкции, — должна быть продемонстрирована жизнь цивилизованного Общества во всех ее аспектах и проявлениях...".)

Бернард и Дикарь стояли на смотровой площадке башни "Черинг-Т". Пояснения давали Комендант Башни и Главный Метеоролог. Но больше всех говорил сам Бернард. Он парил, он чувствовал себя легче воздуха.

Из бездонной синевы вынырнула и быстро снизилась ракета "Бомбейский экспресс". Она приземлилась на башне, открылась дверь, пассажиры начали выходить из ракеты.

— Одна тысяча двести пятьдесят километров в час, — внушительным голосом сказал Комендант. — Что вы об этом скажете, мистер Дикарь?

Джон сказал, что, по его мнению, это неплохо.

— Однако же, — добавил он, — Ариэль за сорок минут мог обернуть пояс вокруг земли.

"Дикарь, — писал Бернард в своем отчете Мустафе Монду, — выказывает поразительно мало изумления достижениями цивилизации, равно как и страха перед ними. Это, без сомнения, отчасти объясняется тем, что он уже слышал об этих достижениях от женщины по имени Линда, которая является его м...".

Прочтя эти строки, Мустафа Монд нахмурился. "Неужели, — подумал он, — я, по его мнению, такой ханжа, что меня вгонит в краску, если он напишет это слово полностью?"

"... а отчасти тем, что прежде всего Дикарь интересуется так называемой "душой", которая, как он продолжает утверждать, есть нечто, существующее независимо от физической среды, — несмотря на то, что, как я ему неоднократно указывал...".

Правитель пропустил несколько строк и уже собирался было перевернуть страницу в поисках чего-нибудь поинтереснее, как вдруг его взгляд упал на крайне необычную фразу.

"... хотя, должен признаться, — прочел Мустафа Монд, — я согласен с Дикарем, что эмоциональная инфантильность цивилизованного Общества делает нашу жизнь слишком легкой или, как он выражается, недостаточно дорогой; и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы привлечь внимание Вашего Фордства к..." .

Недовольство Мустафы Монда тут же уступило место смешливому настроению. Действительно, это уж было совсем курам на смех, что какой-то зеленый юнец важно поучает его —Его — относительно того, каким должен быть общественный

порядок. "У этого субчика явно не все дома, — подумал Мустафа Монд и, откинувшись в кресле, громко расхохотался. — Надо будет проучить его. Однако спешить с этим пока не стоит: посмотрим, что он за фрукт".

Бернард и Джон прибыли на небольшую фабрику, где изготовлялось электрооборудование для вертолетов. Уже на крыше (ибо циркулярное рекомендательное письмо Правителя всегда оказывало магическое действие) их встретили Главный Инженер фабрики и Заведующий ОН К (Отдел Надзора за Кадрами). Все вместе они спустились по лестнице вниз, в цеха.

— Каждый процесс, — объяснил Заведующий ОНК, — осуществляется по мере возможности рабочими из одной и той же бокановскифицированной группы.

И действительно: восемьдесят пять почти бесшумных брахицефалических дельт в черных униформах занимались холодным прессованием, пятьдесят шесть крючконосых гамм в зеленых униформах работали на сборке, сто семь жароустойчивых эпсилонов-сенегальцев обслуживали литейный цех, тридцать три узколицых и узкотазых женщины- дельты (все ростом ровно в один метр шестьдесят девять сантиметров)

занимались нарезкой винтов — и так далее, и тому подобное.

— О счастливый новый мир, — какое-то коварство памяти привело на мысль Дикарю слова Миранды. — О счастливый новый мир, в котором есть такие существа!

— И уверяю вас, — сказал Заведующий ОНК, когда после окончания экскурсии вышел вместе с гостями на фабричный двор, — уверяю вас, у нас никогда не бывает с нашим персоналом никаких хлопот. Мы всегда находим...

Но неожиданно Дикарь рванулся прочь от своих спутников, забежал за лавровый куст, скорчился в три погибели, и его стало рвать, как будто он не стоял на твердой земле, а летел в вертолете, который, неожиданно попав в грозу, начал проваливаться в воздушные ямы.

"Дикарь, — писал Бернард, — наотрез отказывается принимать сому. И он явно мучается от того, что женщина по имени Линда, его м..., берет один соматический выходной за другим. Интересно отметить, что, несмотря на старческий маразм и отталкивающую внешность его м...и, Дикарь часто навещает ее и, видимо, вполне искренне к ней привязан, что является поучительной иллюстрацией того, до какой степени осуществленное

в раннем детстве направленное программированное воспитание способно воздействовать на природу человека и даже заставить его действовать наперекор своим естественным побуждениям (в данном случае — побуждению уклоняться от неприятного объекта) ".

Прилетев в Итон, они приземлились на крыше административного корпуса Верхней Школы. Напротив них, на противоположной стороне школьного кампуса, в солнечном свете сверкала ослепительно белая пятидесятидвухэтажная Башня Липтона. Слева располагался учебный корпус. Справа гордо возвышался Итонский Коллективистский Собор из железобетона и вита-стекла: здесь проводились Фордослужения Коллективизма и Общественные Спевки. В центре четырехугольника стояла древняя, старомодная по стилю статуя Нашего Форда из хромированной стали.

Когда Бернард и Дикарь вышли из вертолета, их встретили доктор Гафни, ректор школы, и мисс Ките, заведующая учебной частью.

— Много у вас тут близнецов? — настороженно спросил Дикарь, когда они начали экскурсию по школе.

— О нет! — ответил доктор Гафни. — В Итоне

учатся исключительно дети, принадлежащие к высшим кастам. Одно яйцо — один индивидуум. Разумеется, это делает процесс обучения более трудным делом и налагает на преподавателей особую ответственность. Но это неизбежно, поскольку нашим учащимся предстоит выполнять в Обществе важные обязанности и повседневно сталкиваться с непредвиденными ситуациями.

Доктор Гафни вздохнул.

Тем временем Бернард явно заинтересовался хорошенькой мисс Ките.

— Если вы свободны по понедельникам, средам или пятницам... — говорил он.

— Спасибо, — приветливо улыбнувшись, ответила мисс Ките ("Как она мило улыбается", — подумал Бернард). — Спасибо, мистер Маркс, я с удовольствием приду к вам на вечеринку.

В этот момент доктор Гафни открыл дверь, и все четверо вошли в класс, где учились альфы-плюс. Через пять минут, когда они оттуда вышли, Джон был очень смущен и растерян и пытался выяснить у Бернарда, что такое элементарная относительность. Бернард попытался было популярно объяснить, но почти сразу же сдался и предложил пойти на какой- нибудь более простой урок.

На уроке географии в классе, где учились бетыминус, Джон узнал, что "Дикарский Заповедник является местом, в котором, ввиду неблагоприятных климатических и геологических условий и отсутствия достаточных естественных ресурсов, было сочтено нецелесообразным внедрять достижения цивилизации". Щелчок; класс погрузился в темноту; и неожиданно на большом экране появились кающиеся грешники Акомы, простертые перед Богоматерью и истошно воющие (какими Джон их неоднократно видел, когда они исповедовались в своих грехах распятому Иисусу или орлиному изображению Поконга). Молодые воспитанники Итона захихикали. А на экране грешники Акомы, все еще продолжая выть, вскочили на ноги, сорвали с себя одежды и стали яростно бичевать себя хлыстами. Хихиканье в классе превратилось в оглушительный хохот, который перекрывал вой бичующихся.

— Почему они смеются? — спросил Джон, которого поведение школьников болезненно задело.

— Почему? — доктор Гафни, широко улыбаясь, повернулся к Джону. — Почему? Но ведь это же действительно очень смешно.

В полумраке затемненного класса Бернард отважился на то, чего прежде он не решился бы

сделать даже в полной темноте: он обвил рукой талию мисс Ките; хорошенькая учительница сразу же прильнула к нему. Бернард уже хотел было урвать один-другой поцелуй, но тут снова раздался щелчок, и в зале зажегся свет.

— Пожалуй, нам пора двигаться дальше, — сказала мисс Ките и направилась к выходу.

— А здесь, — сказал доктор Гафни, открывая еще одну дверь, — находится Центр Гипнопедического Контроля.

Три стены большой комнаты были уставлены стеллажами, на которых громоздились сотни проигрывателей синтетической музыки: каждый — для особого дортуара. Четвертая стена была усеяна мелкими круглыми ячейками, в которых лежали небольшие цилиндрические кассеты с разными гипно- педическими уроками.

— Кассета вставляется вот сюда, — объяснил Бернард, опережая доктора Гафни. — Затем нужно нажать вот эту кнопку...

— Нет, вот эту, — уязвленным тоном поправил ректор.

— Ну, вот эту, — согласился Бернард. — В кассете находится пленка, которая начинает раскручиваться. Селениевая камера превращает световые импульсы в звуковые волны, и...

— И учащиеся слушают урок, — завершил объяснение доктор Гафни.

— Ваши учащиеся читают Шекспира? — неожиданно спросил Дикарь, когда они проходили мимо школьной Библиотеки, направляясь к Биохимической Лаборатории.

— Конечно, нет, — ответила мисс Ките, краснея, как маков цвет.

— Наша Библиотека, — внес ясность доктор Гафни, — укомплектована только справочными изданиями. Если учащиеся хотят развлечься, они могут пойти в чувствилище. Мы не поощряем одиночных развлечений.

Сверху, по витрифицированной надкоридорной дорожке, пронеслось пять открытых вагончиков, в которых сидели подростки — мальчики и девочки: одни пели, другие молча обнимались.

— Они только что вернулись, — объяснил Джону доктор Гафни, пока Бернард шепотом договаривался с мисс Ките о свидании на нынешний вечер, — только что вернулись из Слоуского Крематория. Программированное привыкание к смерти начинает воспитываться у детей с восемнадцатимесячного возраста. Каждый ребенок по два утра в неделю проводит в Больнице для Умирающих. Там много игрушек, и в те дни,

когда кто-нибудь умирает, детям дают шоколад. Их приучают рассматривать смерть как нечто совершенно естественное.

— Нечто аналогичное любому другому физиологическому процессу, — профессионально-наставнически вставила мисс Ките.

Бернард уже с ней договорился: в восемь часов вечера в "Савое".

Ленина вошла в переодевалку, весело напевая.

— У тебя, похоже, нынче отличное настроение, — заметила Фанни.

Ззип! Ленина распустила молнию на блузке.

— Верно, отличное! — ответила она. — Полчаса тому назад позвонил Бернард. — Ззип, ззип! — У него вечером случилось непредвиденное дело. — Ззип! — Он попросил меня отвезти Дикаря в чувствилище, так что я очень тороплюсь.

И Ленина ринулась в ванный зал.

— Везучая! — пробормотала ей вслед Фанни.

В замечании Фанни не было ни грана зависти: добродушная Ленинина подруга просто констатировала непреложный факт. Ленине действительно необыкновенно повезло: эта заурядная, ничем не примечательная девушка вдруг сделалась модной знаменитостью. Греясь вместе с Бернардом в лучах славы Дикаря, она те-

перь буквально шла нарасхват: Секретарь Союза Фордианской Молодежи пригласил ее выступить с путевыми впечатлениями о Дикарском Заповеднике; она прочла доклад на традиционном ежегодном банкете Клуба "Афродитеум"; ей было присвоено звание "знатного человековода"; и она появилась в телечувствилищной программе новостей, так что ее могли видеть, слышать, осязать и обонять бесчисленные миллионы людей на всей земле.

Не обошли Ленину вниманием и некоторые из самых высокопоставленных Фордианских и Общественных Деятелей. Второй Личный Секретарь Правителя Западной Европы пригласил ее на обед и переспал с ней. Один выходной она провела с Председателем Фордианского Верховного Суда, другой — с Архифордослужителем Кентерберийским. Президент Корпорации Внешней и Внутренней Секреции постоянно звонил ей по телефону, и она уезжала на неделю отдыхать в Довиль вместе с Заместителем Председателя Правления Фордоевропейского Банка.

— Все это, конечно, очень интересно, — согласилась Ленина, — но, Фанни, должна тебе признаться, я все-таки чувствую себя ужасно неловко, точно меня постоянно принимают за

кого-то другого. Потому что ведь всех этих людей интересует только одно: каково трахаться с Дикарем. А я вынуждена отвечать, что не знаю. Ну, и мне, конечно, никто не верит. Но ведь это же правда; я действительно с ним не спала. Я бы и сама не прочь с ним переспать, — при этом Ленина вздохнула. — Он ведь такой милый, разве не так?

— Но ты же ему явно нравишься, — сказала Фанни. — Так за чем же дело стало?

— По-моему, иногда я ему нравлюсь, а иногда нет. Он всегда старается меня избегать: когда я вхожу в комнату, он ищет предлога, чтобы выйти, он ни разу до меня пальцем не дотронулся, он и глаз-то на меня почти не поднимает. Но, бывает, если я неожиданно к нему поворачиваюсь, я ловлю его на том, что он украдкой на меня смотрит. А ты сама знаешь, как смотрит мужчина на женщину, которая ему нравится.

Да, Фанни это знала.

— Ничего не могу понять, — призналась Ленина.

Она ничего не могла понять — и все же была не только взволнована и заинтересована, но и явно огорчена странным поведением Дикаря.

— Потому что, Фанни, видишь ли, он мне нра-

вится.

Он нравился Ленине все больше и больше. "Ну, и теперь у меня наконец появится реальная возможность", — подумала она, вдыхая аромат собственного тела после ванны. В предвкушении удовольствия она начала мурлыкать популярную песенку:

Обними меня, опьяни меня,
Исцелуй меня до истомы,
Обними меня, подомни меня:
Ведь любовь прекрасна, как сома!

Из аромативного органа полилась восхитительно освежающая "Луговая рапсодия" — один из шедевров современной хроматической додекакофонии. Рапсодия началась журчащим арпеджио ритмов и запахов розмарина, базилика, руты и эстрагона; затем последовали смелые модуляционные легато от полыни к серой амбре; а от них — возвращение через фернамбук, камфарное дерево, кедр и свежескошенное сено (прерываемое ритурнелью клевера и редкими диссонанс- ными туше, такими, как стаккато печеночного пудинга или легкое тремоло свиного помета) назад к мордентам простых ароматических трав, с которых началась рапсодия. Замерла последняя кода тимьяна, раздались рукоплескания, вспыхнул

свет, и в проигрывателе синтетической музыки стала раскручиваться пленка: зазвучало трио суперскрипки, гипервиолончели и квазигобоя, наполнивших воздух пленительной томностью. Тридцать или сорок тактов — и затем, под инструментальный аккомпанемент, вступил голос солиста — но это было нечто большее, чем обыкновенный человеческий голос: исходя то из горла, то словно из головы, переходя от длинного форшлага нежной флейты к виртуозной каденции, имитирующей грохот грозного набата, этот голос без напряжения преодолевал невероятно низкие ноты и поднимался выше самого верхнего "до" — выше ноты, которую (в 1770 году в Парм-ской опере, к великому изумлению Моцарта) взяла Лукреция Аджугари, единственная певица в истории, которой такое удалось.

Покоясь в пневматических креслах, Ленина и Дикарь обоняли и слушали. Теперь наступила очередь глаз и кожи.

Свет в зале медленно погас; в темноте загорелись, словно бы висящие в воздухе, огненные буквы: "ТРИ НЕДЕЛИ В ВЕРТОЛЕТЕ". ЦВЕТНОЕ, ШИРОКОФОРМАТНОЕ,
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЕ, СИНТЕТИКО-ЗВУКОВОЕ, ТАКТИЛЬНО-РЕ-ПРОДУЦИОННОЕ ЧУВСТВИЛИЩЕ.

ПОД СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ АККОМПАНЕМЕНТ АРОМАТИВНОГО ОРГАНА".

— Возьмитесь руками за эти металлические набалдашники на подлокотниках, — прошептала Ленина. — Иначе вы не почувствуете тактильных эффектов.

Дикарь послушно взялся за набалдашники.

Тем временем огненные буквы исчезли; десять секунд царила полная темнота; и вдруг — ошеломляющие, гораздо более настоящие, чем если бы они были из плоти и крови, — более жизненные, чем сама жизнь, — в воздухе возникли стереоскопические образы двух сплетенных в объятии любовников: великана-негра и золотоволосой, молодой, брахи- цефалической девушки из касты бета-плюс.

Дикарь встрепенулся: он почувствовал у себя на губах поцелуй женских губ. Он поднял руку ко рту: ощущение исчезло. Он снова опустил руку на металлический набалдашник: ощущение вернулось. Тем временем ароматив ный орган дохнул на зрителей чистым мускусом. Из проигрывателя синтетической музыки понеслось воркование суперголубя: "Оооо—оох!", и ему ответил (с амплитудой колебаний всего лишь тридцать две вибрации в секунду) невыразимо низкий бас:

"Аааа—аааx!" "Оооо—аааx! Оооо—аааx!" Затем стереоскопические губы снова сомкнулись, и снова лицевые эрогенные зоны шести тысяч зрителей "Альгамбры" задрожали в почти нестерпимом гальваническом наслаждении... "Оооо—аааx!"

Сюжет чувствилищного фильма был чрезвычайно прост. Через несколько минут после первых "охов" и "ахов" (за эти несколько минут любовники спели красивый дуэт и быстро, но изящно совокупились на том самом, знаменитом ковре из медвежьей шкуры — Заместитель Начальника Отдела Социального Предопределения был совершенно прав: зрители отчетливо ощущали отдельно каждый волосок медведя), негр потерпел вертолетную аварию и, упав на землю, стукнулся головой. Трах! Лоб негра окрасился кровью, на лице появилась гримаса боли. Теперь хор "охов" и "ахов" зазвучал уже из рядов зрителей.

Полученная травма уничтожила в негре все благоприобретенные рефлексы его программированного воспитания. Он почувствовал к золотоволосой бете извращенную, маниакальную страсть. Она негодовала. Он настаивал. Затем зрители увидели борьбу, погоню, драку с соперником и наконец сенсационное похищение.

Золотоволосая бета была насильно поднята в воздух и воленс-ноленс вынуждена была оставаться там долгих три недели в противоестественном, антиобщественном tete-a-tete с чернокожим безумцем. В конце концов, после захватывающих приключений и головокружительной воздушной акробатики, трем красавцам альфам удалось освободить пленницу. Негра отправили в Исправительную Колонию для Совершеннолетних (ИКС), и все завершилось "хеппи-эндом": золотоволосая бета на радостях стала любовницей всех троих своих избавителей. Они вчетвером исполнили синтетический квартет "Эрекцио и рондо-эякуляциозо" под аккомпанемент звуков мощного эротофона и запахов гардений из ароматичного органа; а затем снова появилась медвежья шкура, и на ней золотоволосая бета легла поочередно под трех прекрасных альф. Под томные хроматические квинты сексофонов в темноте растаял последний стереоскопический, тактильно-репродуцированный поцелуй, и на губах зрителей умерла последняя электронная дрожь, подобно тому как умирает мотылек, который сперва дрожит, дрожит, трепыхается крылышками, дергается все слабее и слабее — и наконец цепенеет и замирает.

Однако для Ленины мотылек еще не совсем умер. Даже после того как в зале снова зажегся свет и Ленина и Дикарь вместе с косяком зрителей медленно поплыли по направлению к лифтам, призрак мотылька все еще дрожал у ее губ и наэлектризовывал ее трепещущее тело разрядами возбуждения и наслаждения. Щеки у Ленины раскраснелись, глаза сверкали, она тяжело дышала. Она взяла руку Дикаря и прижала ее к своему боку. Дикарь быстро взглянул на Ленину, вздрогнул, побледнел, в нем болезненно шевельнулось желание, но он тут же этого устыдился. Он был недостоин — недостоин не только... Взгляды их на секунду встретились. О, какие бездны сокровищ обещал ее взгляд! Дикарь быстро отвел глаза и отнял свою плененную руку. Где-то в глубинах сознания у него гнездился страх, что Ленина может вдруг перестать быть той девушкой, которой он, по его мнению, был столь недостоин...

— Сдается мне, не подобает вам смотреть такие вещи, — сказал он, торопясь перенести с самой Ленины на окружающую обстановку вину за то, что Ленина в прошлом и будущем сможет в чем-то не соответствовать идеалу высшего совершенства.

— Какие вещи, Джон?

— Такие, как это ужасное представление.

— Ужасное? — Ленина была искренне удивлена. — По- моему, это было совершенно великолепно.

— Это было омерзительно! — сказал он в возмущении. — Это было грязно и непотребно.

— Не знаю, о чем вы говорите.

Почему он такой странный? Почему он хочет все испортить?

Пока они летели в вертотакси, Дикарь ни разу не взглянул на Ленину. Связанный клятвой, которая никогда не была произнесена, подчиняясь закону, против которого он давно уже перестал бунтовать, Дикарь молча сидел, опустив глаза. Иногда — словно некий незримый палец касался в нем какой- то нежной, туго натянутой струны — все его тело сотрясалось в пароксизме внезапного нервного возбуждения.

Они приземлились на крыше дома, в котором жила Ленина. "Наконец-то! — подумала она, выходя из вертотакси. — Наконец-то! Хотя пока он и вправду вел себя куда как странно, но сейчас...". Стоя под фонарем, она вынула из сумочки зеркальце... Так и есть, нос у нее чуть-чуть лоснился. Она вынула пудреницу. Пока Дикарь расплачивался с верто- таксистом, у нее была минута

времени: она отпульверизи- ровала немного пудры себе на нос и потерла нос пальцем. "Он ужасно милый! И зачем он только такой робкий? Как Бернард. И все-таки... Да ведь любой другой мужчина давно бы уже меня... Но теперь-то наконец он уж никуда не денется!" Кусочек лица, который Ленина видела в крошечном зеркальце, удовлетворенно улыбнулся ей.

— Доброй ночи! — произнес за ее спиной сдавленный голос.

Ленина круто обернулась. Дикарь стоял у дверцы вертотакси, глядя на нее. Он явно глядел на нее все то время, когда она пудрила себе нос, он чего-то ожидал — но чего? Или он колебался, желая и не решаясь, и напряженно о чем-то думал, думал, думал? Ленина не могла понять, о чем он думает.

— Доброй ночи, Ленина, — повторил Дикарь и состроил странную гримасу, пытаясь улыбнуться.

— Но, Джон... Я думала, что вы... То есть, разве вы не...

Но он уже закрыл за собой дверцу и сказал что-то верто-

таксисту. Вертолет взмыл в воздух.

Глядя вниз из поднимающегося вертолета,

Дикарь видел запрокинутую голову Ленины и ее лицо, бледное в свете фонарей. Рот ее был открыт, она что-то кричала. Ее уменьшавшаяся фигура быстро отдалялась от него и скоро исчезла, окутанная темнотой.

Через пять минут он уже был в своей комнате. Из заветного тайника он достал изъеденный мышами толстый том, перелистал с благоговейной преданностью пожелтевшие страницы и открыл "Отелло". Он вспомнил, что Отелло был такой же, как герой "Трех недель в вертолете", - чернокожий...

Вытерев платком глаза, Ленина направилась по крыше к лифту. Пока она ехала вниз, на свой двадцать седьмой этаж, она вынула из сумочки флакончик с таблетками сомы. Она решила, что одного грамма, пожалуй, будет сейчас недостаточно: для хорошего забытья ей нужно было добрых два грамма; но в этом случае Ленина рисковала не проснуться утром вовремя. Поколебавшись, она выбрала золотую середину и приняла три полуграммовых таблетки.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Дикарь не хотел открывать, так что Бернарду пришлось кричать через закрытую дверь:

— Но все уже в сборе, ждут одного тебя!

— Пусть себе ждут! — донесся приглушенный голос из-за двери.

— Но, Джон, ты же знаешь, я пригласил их специально для того, чтобы они с тобой познакомились! — проорал Бернард, чувствуя, что нелегко говорить убедительно, надсаживая голос во всю мочь своих легких.

— Тебе сперва следовало осведомиться, хочу ли я с ними знакомиться?

— Но, Джон, раньше ты всегда соглашался.

— Вот затем-то я теперь и не соглашаюсь.

— Ну, ради меня, — стал умолять Бернард, — хотя бы ради меня!

— Нет!

— Это ты всерьез?

— Да.

— А что мне теперь делать? — в отчаянии завопил Бернард.

— Иди к дьяволу! — проревел разъяренный голос.

— Но сегодня там сам Архифордослужитель Кентерберийский! — Бернард чуть не плакал.

— А и иаа такуа! — только на языке зуни мог Дикарь выразить всю глубину того, что он чувствовал по отношению к Архифордослужителю

Кентерберийскому. — Хани — добавил он с гневным презрением. — Хани! Соне эсотсенаа!

И он сплюнул на пол, как сделал бы в такой момент Попе.

В конце концов Бернард вынужден был возвратиться к себе не солоно хлебавши и сообщить горящей любопытством компании, что Дикарь нынче вечером не появится. И тут сразу же прорвалась наружу накопившаяся злоба, вызванная тем, что все они вынуждены были уже несколько недель расшаркиваться перед этим ничтожеством, перед этим выскочкой, который стал притчей во языцех своим аморальным поведением и своими сомнительными, почти антиобщественными взглядами. Особенно кипятились те, кто занимал высокое положение в социальной иерархии.

— Сыграть со мной такую шутку! — снова и снова повторял Архифордослужитель Кентерберийский. — С о мной!

А дамы решили, что встреча с Дикарем была лишь неуклюжим предлогом для того, чтобы обманом зазвать их сюда, — предлогом, который выдумал этот коротышка со спиртом в составе крови, этот мозгляк с телосложением гаммы-минус.

— Надувательство! Очковтирательство! — твердили они все громче и громче.

Особенно бушевала Директриса Нижней Школы Итона.

Одна лишь Ленина ничего не говорила. Бледная, с необычной томностью в глазах, она сидела в углу, отгороженная от всех, кто суетился вокруг нее, каким-то неясным, неведомым ей прежде ощущением, которого никто из них не испытывал. Когда она шла на эту вечеринку, ее почему-то охватило странное возбуждение. "Через несколько минут, — думала она, входя в комнату, — через несколько минут я буду видеть его, слушать его, обращаться к нему; и я скажу ему, что он мне нравится, что он мне больше по душе, чем кто-либо из мужчин, которых я знала прежде; и, может быть, он тогда скажет..." .

Но что он скажет? Щеки Ленины заливал румянец.

"Почему тогда, после чувствилища, он повел себя так странно? И все-таки я ему нравлюсь, я уверена. Да, я уверена...".

Как раз в этот момент Бернард объявил, что Дикарь на вечеринку не придет.

"Может быть, он отказался прийти потому, что я ему не нравлюсь?" - подумала Ленина. И

она сразу же уверилась в этом: да, именно так, Джон отказался прийти, потому что она ему не нравится.

— Это уже и в самом деле переходит все границы! — провозгласила Директриса Нижней Школы Итона, обращаясь к Заведующему Управлением Кремации и Абсорбции Фосфора. — Подумать только, что я и вправду...

— Да! — донесся до Ленины с другой стороны голос Фанни Краун. — Что касается спирта у него в крови, так это совершеннейшая правда. У меня был знакомый, у которого был знакомый, который как раз в то время работал на эмбриональном складе, и он рассказал моему знакомому, а мой знакомый рассказал мне, что...

— Да, нехорошо получается, — сочувственно сказал Генри Фостер Архифордослужителю Кентерберийскому. — Вам, может быть, было бы интересно узнать, что наш бывший Директор ИЧП собирался было перевести Маркса на работу в Исландию, да не успел, бедняга...

Пронзаемый острыми иглами язвительных замечаний, плотно надутый воздушный шар Бернардовой счастливой самоуверенности, выпуская воздух из тысячи проколов, быстро съеживался и сморщивался. Бернард — бледный,

жалкий, взъерошенный — переходил от одного гостя к другому и, заикаясь, бормотал извинения, клянясь, что уж в следующий-то раз Дикарь, как пить дать, придет, и уговаривая каждого гостя съесть бутерброд с каротином, принять таблетку витамина "А-приори" и выпить стакан суррогата шампанского. Гости ничтоже сумняшеся пили, ели и принимали таблетки, но при этом на все лады выказывали Бернарду свое презрение: они ему либо вызывающе грубили, либо громко говорили о нем друг с другом, не стесняясь в выражениях, как будто его здесь и вовсе не было.

— А теперь, друзья мои, — сказал Архифордослужитель Кентерберийский, возвысив свой хорошо поставленный, звенящий голос, хорошо всем знакомый по торжественным Фордослужениям, которые ежегодно проводились в праздник Международной Солидарности Фордопоклонников и транслировались на всю планету, — а теперь, друзья мои, по-моему, нам пора идти...

Архифордослужитель торжественно поднялся, поставил на стол свой стакан, смахнул со своего алого вискозного жилета крошки каротина и величественно двинулся к двери.

— Но куда вы спешите. Ваше Фордослуженство? — заегозил Бернард. — Еще так рано... Я надеялся,

что вы...

Да, на что он только не надеялся, когда накануне Ленина шепнула ему по секрету, что Архифордослужитель соизволит прийти к Бернарду на вечеринку, если получит подобающее приглашение!

"Он — такой милый!" — сказала тогда Ленина и показала Бернарду золотую букву "Т" на цепочке: это изящное нательное украшение подарил ей на память Архифордослужитель после того, как она провела выходной в его ефордопархии. Бернард разослал своим гостям пригласительные билеты с гордой надписью: "Добро пожаловать на встречу с Архи- фордослужителем Кентерберийским и Дикарем". Но, как назло, именно в этот вечер Дикарю взбрело в голову запереться у себя в комнате и орать " Х а н и! " и даже (слава Форду, что Бернард не знал языка зуни) "Соне эсо т с е - н а а!". День, который мог бы стать вершиной Бернар- довой славы, стал днем его величайшего унижения.

— Я так надеялся... — запинаясь, повторил Бернард, глядя на Его Фордослуженство умоляющими, преданными глазами.

— Мой юный друг, — с пышной суровостью в голосе произнес Архифордослужитель, — поз-

вольте мне дать вам совет.

Он уставил в Бернарда палец.

— Пока еще не поздно, — провещал Архифордослужитель похоронным голосом, — пока еще не поздно, примите мой добрый совет: осознайте свои заблуждения, мой юный друг, станьте на путь исправления своих ошибок.

Архифордослужитель осенил Бернарда буквой "Т" и повернулся к Ленине.

— Ленина, дорогая моя! — позвал он уже совершенно другим тоном. — Пойдемте со мной!

Покорно, но без улыбки и (словно не понимая, какая честь ей оказана) без радости, Ленина последовала за Архи- фордослужителем. Следом за ними, соблюдая почтительную дистанцию, двинулись гости. Последний из уходящих с силой захлопнул дверь. Бернард остался один.

Униженный, совершенно раздавленный, он плюхнулся в кресло и, закрыв лицо руками, зарыдал. Однако через несколько минут он опомнился и решил, что лучше было бы принять четыре таблетки сомы.

Наверху, у себя в комнате, Дикарь перечитывал "Ромео и Джульетту".

Ленина и Архифордослужитель Кентерберийский вышли из вертолета на крыше Общества

Фордопоклонников.

— Скорее, мой юный друг... то есть, Ленина, — нетерпеливо позвал Архифордослужитель от дверцы лифта.

Ленина, которая было замешкалась, чтобы поглядеть на луну, опустила глаза и побежала по крыше к Архифордослу- жителю.

Статья, которую Мустафа Монд только что кончил читать, называлась "Новая биологическая теория". Мустафа Монд некоторое время посидел молча, размышляя над прочитанным, а затем взял ручку и написал поперек первой страницы:

"Математическая теория концепции цели, разработанная автором, нова, оригинальна и во многих отношениях замечательна, однако антиобщественна по своей сути и, как таковая, потенциально ведет к подрыву или ослаблению существующего социального строя. Не печатать".

Мустафа Монд подчеркнул последние слова и ниже добавил:

"Установить за автором строгое наблюдение. Возможно, окажется необходимым перевести его на службу в океанографический центр на острова Святая Елена".

"А жаль, — подумал Мустафа Монд, — это от-

личная статья, и автор явно очень талантлив. Но если человек начинает задаваться вопросом об объяснении концепции цели — кто знает, к чему это может привести? Такая идея легко может распрограммировать неустойчивые умы среди членов высших каст, может подорвать их веру в счастье как Высшее Благо, внушить им мысль, что у человека могут быть в жизни и ка- кие-то другие идеалы, помимо тех, которыми вдохновляется существующее общество; кому-то может прийти в голову мысль, что смысл жизни — вовсе не материальное благополучие, а интеллектуальное совершенствование, расширение и углубление знаний. По сути дела, конечно, так оно и есть. Однако в нашем обществе подобные идеи недопустимы".

Правитель снова взял ручку и под подчеркнутыми словами "Не печатать" провел еще одну черту — более жирную, чем первая, — а затем подписался.

"Что это будет за жизнь, — подумал он, — если человек перестанет думать о такой вещи, как счастье!".

Закрыв глаза, с восторженным лицом, Джон громко декламировал в пустой комнате:

Она сиять лампаду обучает

И на щеке у полночи сверкает,
Как в ухе мавра яркая серьга, —
Для мира непомерно дорога.

На груди у Ленины поблескивала изящная золотая буква "Т". Архифордослужитель Кентерберийский игриво схватил букву пальцами и потянул к себе.

— Пожалуй, — сказала Ленина, прерывая долгое молчание,

— мне надо бы принять пару граммов сомы.

Бернард в это время уже крепко спал и во сне улыбался своим райским грезам. Он улыбался, улыбался... Но каждые тридцать секунд минутная стрелка электрических часов над головой Бернарда неумолимо дергалась вперед, издавая еле слышный щелчок. Клик, клик, клик, клик... И вот наступило утро. Бернард снова оказался во власти бед и забот времени и пространства. В подавленном настроении он отправился на работу в ИЧП. Опьянение успехом совершенно испарилось, Бернард снова стал самим собой —таким, каким он был в своем прежнем существовании, до поездки в Заповедник; и теперь, когда воздушный шар его самоуверенности выпустил воздух и шлепнулся оземь, это прежнее существование было несравнимо тяжелее окружающей атмосферы.

И этому униженному, сброшенному с небес на землю Бернарду, как ни странно, Дикарь показался необыкновенно симпатичен и близок.

— Сейчас ты снова стал почти таким же, каким был в тот вечер в Мальпаисе, — сказал Дикарь после того, как Бернард изложил ему свою печальную историю. — Помнишь, как мы познакомились и как мы впервые вели беседу? Там, на пустоши, около хижины. И вот теперь ты снова таков, каким был тогда.

— Потому что я снова несчастен — в этом все дело.

— Я скорее готов быть несчастным, нежели наслаждаться этим мнимым, обманчивым счастьем, которое здесь стало вашим уделом.

— Но мне это нравится, — сказал Бернард. — И ведь все произошло из-за тебя. Из-за того, что ты отказался прийти, они все на меня окрысились.

Обвиняя Джона, Бернард сам понимал, что это нелепо и несправедливо. Он уже раньше признался сам себе — а теперь признался в этом и вслух, — что Дикарь прав: ведь ломаного гроша не стоят такие друзья, которые из-за какого- то пустяка мгновенно становятся врагами. Но, несмотря на то, что Бернард все это отлично понимал и даже открыто признал, — несмотря на

то, что утешиться он теперь мог только в обществе Дикаря, — все-таки втайне Бернард затаил против своего друга недоброе чувство и даже подумывал, как бы ему хоть немного отомстить. Затаивать недоброе чувство против вчерашних гостей было совершенно бессмысленно: у Бернарда не было ни малейшей возможности хоть как-то отомстить, скажем, Архифордослужителю Кентерберийскому или Заместителю Начальника Отдела Социального Предопределения. А Дикарь в качестве жертвы обладал в глазах Бернарда неоценимым преимуществом над всеми остальными: он был досягаем. Ведь наши друзья для того нам главным образом и нужны, чтобы в мягкой и символической форме нести то наказание, которому мы хотели бы, но не в силах, подвергнуть наших врагов.

Второй жертвой Бернарда из числа его друзей стал Гельмгольц Уотсон. Когда Бернард в отчаянии пришел к Гельмгольцу и попросил вернуть ему свою дружбу, которую в дни своего успеха Бернард гордо отверг и счел ненужной, Гельмгольц сразу же ему эту дружбу вернул — и сделал это без единого слова упрека, без единого горького намека, словно он совершенно забыл, что они когда-либо ссорились. Бернард был тронут и в то же

время несколько задет подобным великодушием — великодушием тем более необыкновенным и унизительным, что оно не было ничем обязано соме и всем обязано характеру Гельмгольца. Гельмгольц умел забывать и прощать в своей обыденной, повседневной жизни, а не находясь в соматическом отпуске. Бернард почувствовал к Гельмгольцу глубокую благодарность (как приятно было снова иметь друга!) и в то же время легкую обиду (как приятно будет слегка отомстить Гельмгольцу за его великодушие!) .

После того как они помирились, Бернард сразу же рассказал Гельмгольцу о своих злоключениях и позволил себя утешить. Однако прошло несколько дней, и Бернард с удивлением — и некоторым стыдом — узнал, что не одному ему грозят неприятности. За то время, что друзья не виделись, у Гельмгольца тоже было столкновение с власть имущими.

— Это случилось из-за одного стихотворения, — объяснил Гельмгольц. — Я читал в ИЭКе очередную лекцию студентам- третьекурсникам. Всего в лекционном курсе — двенадцать лекций; и седьмая лекция посвящена поэзии. Вернее, чтобы быть точным, лекция называется так: "Использование стихотворных произведений в

моральной пропаганде и в рекламе". Я всегда в своих лекциях привожу множество конкретных примеров. На этот раз я решил в качестве примера привести свое собственное стихотворение. Понимаю, это был с моей, стороны полнейший идиотизм, но я не мог устоять перед искушением. — Гельмгольц рассмеялся. — Мне было любопытно посмотреть, какова будет реакция студентов. А кроме того, — добавил Гельмгольц уже более серьезным тоном, — мне хотелось кое-что втемяшить им в голову: мне хотелось, чтобы они почувствовали примерно то же, что чувствовал я, когда писал эти стихи. О Форд! — Гельмгольц снова рассмеялся. — Какой был шум, ты себе и представить не можешь! Ректор вызвал меня к себе и пригрозил, что уволит. Так, стало быть, теперь я у них на крючке.

— А что это были за стихи? — спросил Бернард.

— Это были стихи об одиночестве.

У Бернарда приподнялись брови.

— Если хочешь, я их тебе прочту, — сказал Гельмгольц. Бернард кивнул, и Гельмгольц начал читать:

Кончилось собрание —
Барабан же вспорот;
Полночь и молчание

Оглушили город,
Тьма дома одела,
Дрожь машин нема,
Где толпа гудела —
Вакуум и тьма;
Тишью я томим,
В темноте рыдаю,
Говорю — но чьим
Голосом, не знаю.
Берты нет и Густы
В тихом обиталище —
Отсутствие бюста,
Ноги, о, влагалища
Медленно слилось
В нечто — что? спрошу я, —
И я пялюсь сквозь
Темноту пустую,
Мня, что там таится
Лучшая, чемта,
С кем совокупиться —
Жуть и маета.

— Ну, так вот, — закончил Гельмгольц, — я прочел это стихотворение студентам, а они донесли на меня Ректору.

— И не удивительно, — сказал Бернард. — Твое стихотворение прямо направлено против всех

основ гипнопеди- ческого учения. Ты же помнишь, в гипнопедическом курсе есть четверть миллиона предупреждений против одиночества.

— Знаю. Но мне ужасно хотелось увидеть, какое впечатление произведут такие стихи на студентов.

— Ну, вот ты и увидел.

Гельмгольц засмеялся.

— У меня такое ощущение, — сказал он, помолчав, — что сейчас я впервые в жизни знаю, о чем мне писать, и впервые в жизни я могу написать о чем-то стоящем, о чем-то важном. Словно я вдруг понял, как мне воспользоваться теми словами, которые дремлют во мне и которыми я до сих пор не пользовался. Понимаешь, мне кажется, будто со мной происходит что-то новое, неведомое...

И Бернарду показалось, что Гельмгольц, несмотря на все свои неприятности, чувствует себя счастливым.

Гельмгольц и Дикарь, едва познакомившись, сразу же пришлись друг другу по душе. Они так подружились, что Бернард даже начал чувствовать уколы ревности. За прошедшие несколько недель Бернарду не удалось так сблизиться с Дикарем, как Гельмгольц сблизился после первой же встречи. Глядя на них, слушая их разговоры,

Бернард иной раз начинал жалеть, что вообще их познакомил. Ему было стыдно своих ревнивых ощущений, и, чтобы их подавить, он время от времени втихомолку проглатывал таблетку сомы. Однако

сома мало помогала; соматические выходные неизбежно чередовались с будними днями, и ощущение ревности возвращалось.

Однажды — это было во время третьей встречи с Дикарем — Гельмгольц прочел ему свои стихи об одиночестве.

— Ну, как? — спросил он, закончив чтение.

Дикарь покачал головой.

— Послушай вот это, — ответил он.

Он открыл ящик, в котором хранилась изъеденная мышами старинная книга, открыл ее и начал читать:

Птица с гласом громовым,

Ты в Аравии далекой

Кликни с пальмы одинокой...

Гельмгольц слушал со все возрастающим возбуждением. При словах "в Аравии далекой кликни с пальмы одинокой" он привстал; при словах "глашатай хриплый" он улыбнулся с затаенным удовольствием; при словах "самовластных птиц-тиранов" кровь бросилась ему в

лицо; но при словах "музыкой заупокойной" он побледнел и весь задрожал, поддавшись какому-то неясному чувству. А Дикарь продолжал:

Даже мысль была страшна
Жить раздельно, жить собою;
Было их уже не двое:
Два обличья — суть одна.
Ум не мог уразуметь,
Как сливалось то, что розно..

— Орды оргий! — неожиданно прервал Бернард и рассмеялся громким, неприятным смехом. — Это же похоже на гимн Фордослужения Коллективизма.

Он мстил двум своим друзьям за то, что друг с другом они были куда более накоротке, чем с ним.

В течение следующих двух или трех встреч Бернард время от времени повторял подобные маленькие акты мести. Это было очень просто и, к тому же, чрезвычайно действенно — ибо и Гельмгольц и Дикарь всегда очень болезненно реагировали, когда Бернард бесцеремонно прерывал их и взмучивал чистый родник высокой поэзии. В конце концов Гельмгольц пригрозил вышвырнуть Бернарда из комнаты, если тот будет и дальше не давать им слушать стихи. Но, как

ни странно, в следующий раз после этого чтение прервал не кто иной, как сам Гельмгольц, — и притом прервал так, что пошлее некуда.

Дикарь читал вслух "Ромео и Джульетту" — читал (ибо он все это время отождествлял себя с Ромео, а Ленину — с Джульеттой) вдохновенно, весь дрожа от страсти. Сцену первой встречи Ромео и Джульетты Гельмгольц слушал с напряженным интересом и в то же время в полном недоумении. Диалог в саду очаровал его своей поэтичностью; но чувства, в которых изъяснялись друг другу герои, вызвали у него снисходительную улыбку: подумать только, парень пришел в такой раж только из-за того, что ему приглянулась девчонка! Однако великолепная конструкция диалога, со всеми мастерски обработанными словесными деталями, делала эту сцену несомненным шедевром инженерно-эмоцио- нальной техники.

— По сравнению с тем, как пишет этот древний парень, — сказал Гельмгольц, — наши лучшие Инженеры Человеческих Эмоций выглядят жалкими неучами.

Дикарь торжествующе улыбнулся и продолжал читать. Все шло более или менее нормально до последней сцены третьего акта, в которой синьор и синьора Капулетти угрожают своей

дочери и требуют, чтобы она вышла замуж за графа Париса. Гельмгольц слушал эту сцену со все усиливающимся недоумением, пока наконец Джульетта — в патетической декламации Дикаря — воскликнула:

Ужели нет на небе состраданья,
Глядящего во глубь моей печали?
О матушка, дозвольте мне остаться!
Отсрочьте брак на месяц, на неделю —
Иль мне стелите брачную постель
В угрюмом склепе, где лежит Тибальт.

Услышав эти слова Джульетты, Гельмгольц разразился взрывом хохота.

Мать и отец (что само по себе уже достаточно неприлично) заставляют свою дочь отдаться мужчине, которому она отдаваться не хочет! И эта дура-девица даже не желает сказать, что она уже отдается кому-то другому, кого (по крайней мере, в данный момент) она предпочитает! Такая ситуация показалась Гельмгольцу столь забавной, что он не мог удержаться от смеха. Он давно уже героическим усилием воли пытался подавлять в себе смешливость, но слова "о матушка, дозвольте мне остаться" (с трагической дрожью в голосе произнесенные Дикарем) и упоминание о Тибальте, который умер, но не был кремирован,

так что фосфор его костей пропадал без пользы в каком-то "угрюмом склепе", — это уж было слишком! Гельмгольц смеялся, смеялся, пока из глаз у него не потекли слезы, — смеялся и не мог остановиться; Дикарь некоторое время смотрел на него, бледный от гнева, а потом, увидев, что Гельмгольц все не унимается, сердито захлопнул книгу, вскочил и жестом человека, отбирающего бисер у свиней, спрятал ее в ящик.

— И все-таки, — сказал Гельмгольц, когда, переведя дыхание и извинившись, он успокоил Дикаря настолько, что тот согласился выслушать его объяснения, — все-таки я отлично понимаю: нам нужны такие нелепые, такие безумные ситуации: только о них можно писать достаточно хорошо. Почему этот древний парень сумел стать таким мастером эмоциональ- но-пропагандистской техники? Да потому, что он видел вокруг себя множество безумств и несчастий, к которым он не мог относиться спокойно. Нужно негодовать, выходить из себя, сочувствовать и страдать — иначе никогда не напишешь ничего путного, никогда не найдешь действительно ярких слов, проникающих внутрь, как рентгеновские лучи. Но "отцы и матери"... — Гельмгольц покачал головой. — Не станешь же ты от меня требовать,

чтобы я воспринимал всерьез всю эту абракадабру про "отцов и матерей"! И неужели можно всерьез волноваться из-за того, что тебе отдается или не отдается какая-то девушка?

Дикарь болезненно дернулся, но Гельмгольц, смотревший в пол, этого не заметил.

— Нет, это не для нас, — продолжал Гельмгольц; — У нас такое не пойдет. Нам нужно что-то другое: какие-то другие безумства, другие несчастья. Но какие? Какие? Где их найти?

— Он помолчал и грустно покачал головой. — Не знаю, — сказал он наконец, — не знаю.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В полумраке Эмбрионного Склада замаячил силуэт Генри Фостера.

— Не хочешь ли сегодня вечером пойти посмотреть чувствилище?

Ленина молча покачала головой.

— Ты встречаешься с кем-нибудь другим? — спросил Генри Фостер (ему всегда было интересно, кто из его знакомых кого имеет). — Кто это? Бенито Гувер?

Ленина снова покачала головой.

Тут Генри Фостер уловил у нее в изумрудных глазах усталость, на коже под отливом волчанки

— бледность, а в уголках неулыбчивого пунцового рта — печаль.

— Ты что, плохо себя чувствуешь? — спросил он участливо. Ленина в третий раз покачала головой и опять ничего не

ответила.

— Тебе нужно бы сходить к врачу, — сказал Генри. — Не забывай про докторов и будешь весел и здоров, — процитировал он гипнопедический афоризм и потрепал Ленину по плечу. — А может быть, тебе полезно было бы попринимать субститут беременности? Или пройти экстра-интенсивный курс СНС? Знаешь, иногда стандартные суррогаты страстей не очень-то хорошо помо...

— Да заткнись ты, ради Форда! — грубо оборвала его Ленина и повернулась к своим эмбрионам.

Еще чего — СНС! Только этого не хватало! Да у нее и без того своих НС — хоть отбавляй! Наполняя шприц, Ленина вздохнула. "Джон! — пробормотала она. — Джон!" А затем вдруг спохватилась: "О Форд! Впрыснула я этому эмбриону сыворотку против сонной болезни или нет?" Она никак не могла вспомнить, и, в конце концов, решила не рисковать (а то, не дай Форд, можно ввести эмбриону двойную дозу), и перешла к

следующей колбе.

Ровно через двадцать два года, восемь месяцев и четыре дня молодому даровитому альфе — многообещающему администратору в Мванза-Мванза — предстояло умереть от трипаносомиаза (первый случай такого рода больше чем за пятьдесят лет).

Ленина, вздыхая, продолжала работать.

Через час в переодевалке на Ленину яростно набросилась Фанни.

— Да ты что, свихнулась, что ли? — кипятилась она. — Так изводиться, и из-за чего? Из-за мужика? Из-за какого- то одного мужика?

— Но я хочу его! — крикнула Ленина.

— Да в мире миллионы таких, как он!

— Я их не хочу.

— Откуда ты знаешь? Ты их пробовала?

— Пробовала.

— Скольких ты пробовала? — ехидно спросила Фанни, презрительно передернув плечами. — Одного? Двух?

— Несколько десятков. И все они были хуже некуда.

— Ну, так нужно пробовать снова и снова, нужно упорно искать, — сказала Фанни, но по ее неуверенному тону чувствовалось, что она не

очень-то верит в эффективность собственного совета. — Кто пробует, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет.

— А тем временем...

— А тем временем перестань думать о нем.

— Рада бы, но не могу.

— Ну, так почаще принимай сому.

— Принимаю. Не помогает.

— Принимай еще чаще.

— А в перерывах между приемами сомы я все равно снова думаю только о нем. Я хочу только его одного. И всегда буду хотеть.

— Ну, а если так, — решительно сказала Фанни, — то пойди к нему и возьми его силой. И наплевать, хочет он тебя или нет.

— Но если бы ты только знала, какой он ужасно стран - н ы й!

— Тем тверже ты должна себя с ним вести.

— Тебе легко говорить!

— А тут нечего говорить! Действуй! — голос Фанни звенел, как труба. — Да, действуй! И сейчас же! Сегодня же!

— Мне боязно, — сказала Ленина.

— Ну, так проглоти сначала полграмма сомы для храбрости. А я сейчас иду принимать ванну! — и Фанни удалилась, размахивая полотенцем.

Зазвенел дверной звонок, и Дикарь, который очень надеялся, что сегодня вечером к нему заглянет Гельмгольц (ибо он решил посоветоваться с Гельмгольцем насчет Ленины, а приняв решение, горел нетерпением, как можно скорее осуществить задуманное), вскочил на ноги и помчался к двери.

— Я так и предугадал, Гельмгольц, что ты ныне придешь, — закричал он, отворяя дверь.

На пороге — в белом костюмчике из ацетатного сатина и в круглой белой шапочке, кокетливо сдвинутой на левое ухо, — стояла Ленина.

— О! — воскликнул Дикарь таким тоном, словно его двинули в челюсть.

Полграмма сомы сделали свое дело: Ленина переборола свою былую робость.

— Привет, Джон! — сказала она, улыбаясь, и вошла в комнату.

Он машинально закрыл за ней дверь. Ленина села. Последовало долгое молчание.

— Мне кажется, Джон, ты мне не рад! — произнесла наконец Ленина.

— Не рад? — Дикарь укоризненно взглянул на Ленину, а потом вдруг рухнул перед ней на колени и, схватив ее за пальцы, стал восторженно покрывать ее руку поцелуями. — Не рад? О,

если бы ты только знала! О моя возлюбленная, моя обожаемая Ленина! Ты воистину достойна преклонения, о средоточье всех сокровищ мира!

Ленина нежно и ободряюще улыбнулась Джону.

— О, ты столь совершенна, — продолжал Дикарь, в то время как она, приоткрыв губы, начала склоняться к нему, — столь совершенна и столь несравненна... — она наклонялась к нему все ниже и ниже, — ...столь несравненна, что, кажется, ты сотворена из всего лучшего, что есть в созданьях божьих...

Почти не слушая, Ленина уже почти коснулась лицом лица Джона; но тут он вдруг вскочил на ноги.

— И потому, — сказал он, отводя взгляд, — потому я решил, что сначала я должен что-то свершить, дабы заслужить твою любовь, дабы доказать, что я достоин тебя. Нет, я не могу воистину возомнить, что я тебя достоин. Но я желаю хотя бы доказать, что я не совсем недостоин. Я жажду свершить нечто...

— Для чего? Почему ты думаешь, что тебе нужно... — начала было Ленина, но осеклась; в ее голосе послышалось раздражение: теперь, когда они наконец вместе, зачем он все так ослож-

няет?

— В Мальпаисе, — прошептал Дикарь, — влюбленный юноша приносит своей избраннице шкуру горного льва. Или волка...

— Но в Англии нет львов, — прервала Ленина.

— А если бы они здесь и были, — с горечью и презрением сказал Дикарь, — их, должно полагать, умерщвляли бы с вертолетов. Умерщвляли бы ядовитым газом или чем-нибудь подобным. Но нет, Ленина, я не таков! — Дикарь расправил плечи и взглянул Ленине в глаза, но встретил в них ошарашенный взгляд, полный совершеннейшего недоумения. —

Я буду служить тебе собственною дланью. Я готов свершить все, что только в силах человеческих! Подай лишь знак — и я исполню любое твое желание. Ты знаешь, есть потехи и забавы, которые трудны и болетворны, но наслаждение от таких забав столь велико, что заставляет забыть о боли. Вот так и я ныне готов снести любую боль, ибо ее превозможет высокое наслаждение служить тебе. Повели только — и я готов мыть полы...

— Зачем? — удивилась Ленина. — Что, у нас пылесосов не хватает, что ли?

— Да, конечно. Но есть презираемые и низкие

занятия, до которых человек опускается, возвышаясь при этом душою. И я хочу возвыситься душой, унизившись до презираемого занятия. Понимаешь?

— Но ведь у нас и вправду есть пылесосы...

— Не в этом дело!

— И ими отлично орудуют эпсилоны. Так чего ради т е- б е мыть полы?

— Чего ради? Ради тебя, тебя! Чтобы показать, что я...

— Но что общего между пылесосами и львами?

— Но пойми: это же искус... Чтобы показать...

— И что общего между львами и тем, насколько тебе приятно быть со мной? — спросила Ленина, все больше и больше раздражаясь.

— Чтобы показать, как я люблю тебя, Ленина! — воскликнул Дикарь, чуть ли не в полном отчаянии.

Кровь прилила к щекам Ленины, в ней вспыхнула буйная радость.

— Это правда, Джон?

— Но я не хотел признаваться тебе в любви, — закричал Дикарь, судорожно сжимая руки, — не хотел признаваться тебе в любви до тех пор, пока... Слушай, Ленина. В Маль- паисе люди вступают в брак...

— Вступают во что?

Ленина снова начала раздражаться. Что за ахинею он несет?

— Вступают в брак. Навсегда. Они дают друг другу клятву никогда не расставаться.

— Что за дикая мысль! — Ленина была искренне возмущена.

— "Пусть вянет красота, хладеет кровь, но разум вечно остается юным...".

— Что?

— Это из Шекспира. Или еще: "Но если ты ее девичий пояс кощунственно развяжешь до того, как будет совершен обряд венчанья..."

— Ради Форда, Джон, веди себя разумно. Я ничего не понимаю из того, что ты говоришь. Сначала пылесосы, потом какой-то пояс. Ты меня с ума сведешь! — Ленина вскочила и, словно бы боясь, что Джон не только разумом, но и физически удалится от нее, крепко схватила его за руку. — Ответь мне на один простой вопрос: нравлюсь я тебе или нет?

Дикарь помолчал, а потом ответил очень тихим голосом:

— Я люблю тебя так, что весь подлунный мир не способен вместить моей любви.

— Так что же ты сразу этого не сказал? —

воскликнула Ленина, раздраженно впиваясь ногтями ему в кожу. — Вместо того чтобы молоть какую-то чепуху про пояса, пылесосы, львов и Форд знает про что еще! А я неделю за неделей страдай и мучайся!

Неожиданно Дикарь ощутил, что руки Ленины обвили его шею, и почувствовал у себя на губах прикосновение ее губ — таких восхитительно мягких, нежных, теплых, наэлектризовывающих, что он против своей воли вспомнил об объятиях и ласках в чувствилищном фильме "Три недели в вертолете"... Оооо-оох! Стереоскопическая блондинка- негропоклонница и — аааа-аах! — ее более реальный, чем сама жизнь, чернокожий обожатель-обижатель. Ужас, ужас, ужас!.. Дикарь попытался высвободиться, но Ленина крепче сжала его в объятиях.

— Почему ты мне этого раньше не сказал? — зашептала она, отодвигаясь, чтобы взглянуть на него, и в глазах у нее светился нежный упрек.

— "Ни мрак пещер, ни миг благоприятный, — загремел внутри него кованными стихами голос совести, — ни самых злобных демонов посулы мою любовь не переплавят в похоть". Никогда, никогда!

— Ах ты глупыш! — сказала Ленина. — А я ведь

так тебя хотела! И если ты тоже меня хотел, то почему же ты...

— Но, Ленина, — возразил Дикарь.

В этот момент Ленина расцепила руки и разжала объятия. Он было подумал, что она поняла его намек. Однако когда она расстегнула пояс из лакированной кожи и повесила его на спинку стула, у Дикаря шевельнулось подозрение, что он, возможно, ошибся.

— Ленина! — повторил он с тревогой в голосе.

Ленина не отвечая поднесла руку к горлу и сделала резкий рывок. Ззип! — молния сразу расстегнулась во всю длину, и белая блузка распахнулась сверху донизу. Тут уж подозрение Дикаря превратилось в уверенность.

— Ленина, что ты делаешь?

Ззип, ззип! Ее движения были красноречивее самого обстоятельного ответа. Она сбросила костюмчик, и теперь на ней остались лишь нежно-розовые, совершенно прозрачные бикини на молниях. На груди поблескивал золотой знак "Т", подаренный Архифордослужителем Кентерберийским.

— "Не забывай обета своего и укрощай порывы любострастья...".

Звенящие, громыхающие, волшебные строки

делали Ленину для Дикаря еще опаснее и вдвое желаннее... Нежно, нежно, мягко — но это проникало в душу, вбуравливалось в мозг, кромсало решимость...

— "Когда пылает кровь, в ее огне любой зарок сгорает, как солома. Так будь же властелином над собой...".

Ззип! Нежно-розовая оболочка упала, раскрывшись, как разрезанное яблоко. Заизгибались руки, поднялась сначала правая нога, потом левая; бикини, как мертвые, безжизненно и бесформенно лежали на полу.

Все еще в туфлях, носках и в белой шапочке Ленина двинулась к Джону.

— Дорогой! Дорогой! Ну почему же ты мне раньше не сказал?

Она протянула к нему руки.

Но вместо того чтобы тоже воскликнуть "Дорогая!" и протянуть руки к ней, Дикарь стал отступать, словно на него надвигалось свирепое, злобное животное. Он сделал четыре шага назад и уперся в стену.

— Красавчик! — сказала Ленина и, положив руки ему на плечи, прижалась к нему всем телом. — Обвей меня руками! "Обними меня, опьяни меня, исцелуй меня до истомы!" — она тоже

могла продекламировать стихи, которые для нее обладали волшебством не хуже шекспировского. — "Обними меня, подомни меня...".

Но неожиданно Дикарь с силой сжал Ленине запястья и грубо оттолкнул.

— О, мне больно, ты... О!

И вдруг она замолкла. Страх заставил ее забыть про боль. Широко раскрыв глаза, она смотрела ему в лицо — но нет, это было не его лицо, это было лицо какого-то незнакомца, бледное, перекошенное, искаженное необъяснимой безумной яростью.

— Но, Джон, что ты... — прошептала она в ужасе.

Он не ответил: он лишь смотрел на нее в упор безумными глазами. Руки, сжимавшие ее запястья, дрожали. Он тяжело дышал. Она улышала, что он скрипит зубами.

— Что ты? — взвизгнула она.

Словно разбуженный ее визгом, Джон схватил ее за плечо и с силой встряхнул.

— Шлюха! — заревел он. — Шлюха! Грязная блудница!

— О, н...н...нет, н...н...нет! — дрожащим голосом произнесла Ленина.

— Шлюха!

— П...п...пож...жалуйста!

— Грязная блудница!

— К...к...когда п...п...проглотишь... — начала было Ленина.

Дикарь оттолкнул ее от себя с такой силой, что она не удержала равновесия и упала.

— Вон! — крикнул он яростно. — Вон или я убью тебя! Он сжал кулаки.

Ленина подняла руку, чтобы защитить лицо.

— П...пож...жалуйста, Дж...джон... н...не н...надо...

— Убирайся! Скорей!

Все еще защищая лицо рукой и испуганно следя за его движениями, Ленина, качаясь, поднялась на ноги и рванулась по направлению к ванной.

Как пистолетный выстрел, раздался звук пощечины.

— О!

Благополучно запершись в ванной, Ленина смогла осмотреть себя в зеркале. На белой щеке выделялось красное пятно — там, где кожи коснулась тяжелая рука Дикаря. Ленина стала натирать красное пятно кремом.

А тем временем Дикарь мерил шагами комнату, успокаивая себя барабанным боем и музыкой магических слов:

При мне вьюрки и золотые мушки
Беспутствуют без всякого стыда...
Строки звенели в ушах, сводили с ума:
Но ни хорек, ни грязная кобыла
Столь ревностно не предаются блуду.
О, женщины похожи на кентавров:
Над поясом и выше — словно люди,
А ниже — непотребные скоты;
Снаружи — солнцеликие богини,
Внутри же — обиталища чертей:
Там ад, там тьма, там гибельная бездна,
Огонь, зловонье, муки, смрад и смерть...
Аптекарь добрый, дай мне цибетину,
Чтобы подсластить мое воображенье...

— Джон! — раздался умоляющий голос из ванной. — Джон!

О ты, трава, столь дивная на вид,
Столь сладкая, что даже чувствам больно!
Ужели в эту редкостную книгу
Теперь вписать придется слово "шлюха"?
Ведь даже небеса...

Однако аромат ее духов все еще льнул к нему; у него на рубашке были пылинки пудры, пахнувшей ее телом...

— Грязная блудница, грязная блудница, грязная блудница! — неумолимый ритм бил ему в уши.

— Бесстыдная...

— Джон, можно мне взять свою одежду?

Он подобрал ее брюки, блузку, бикини...

— Открой! — крикнул он, пнув ногой дверь.

— Нет! — отозвался из ванной испуганный голос.

— Как же мне все это тебе отдать?

— Просунь в вентилятор над дверью.

Он последовал совету и снова принялся вышагивать по комнате.

— Грязная блудница! Грязная блудница! "О демон сладострастья — толстозадый, с клубнями пальцев...".

— Джон!

Он не ответил. "Толстозадый, с клубнями пальцев...".

— Джон!

— Чего тебе?

— Может быть, ты передашь мне мой мальтузианский пояс...

Ленина сидела в ванной, прислушиваясь к звуку шагов за стеной, и думала, что ей делать: дожидаться ли, пока он уйдет, или через некоторое время, когда он чуть-чуть успокоится, отпереть дверь и попробовать убежать...

В этот момент зазвонил телефон. Шаги за сте-

ной сразу же замерли; Ленина услышала голос Дикаря, беседующего с тишиной.

— Алло! Да Если я не похитил свой собственный облик, то это я Да! Вы что, не слышали меня? Мистер Дикарь у телефона. Что? Кто заболел? Конечно, это меня волнует Это серьезно? Ей очень плохо? Я сейчас приеду. Не у себя? А куда ее отвезли? О Боже! Какой адрес? Как? Парк-Лейн, 3? Спасибо.

Ленина услышала, как трубка резко опустилась на рычаг; сразу же раздались поспешные шаги, хлопнула дверь, и все затихло. Неужели он и вправду ушел?

С бесконечными предосторожностями она чуть-чуть приоткрыла дверь и выглянула. Вроде бы никого. Осмелев, она сначала просунула в дверь голову, а затем, с бьющимся сердцем, на цыпочках, вышла из ванной. Да, никого. Постояв несколько секунд, она ринулась к двери, открыла ее, выскочила наружу и побежала. Только очутившись в лифте и начав опускаться вниз, она почувствовала себя в безопасности.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Парк-Лейнская Больница для умирающих помещалась в шестидесятиэтажной башне, об-

лицованной лимонно-зеле- ными плитками с изображениями примул. Когда Дикарь выходил из вертотакси, цуг ярко окрашенных аэролошадей, запряженных в аэрокатафалк, взмыл вверх с крыши Больницы и устремился на Запад, к Слоускому крематорию. В справочном бюро около входа в лифт Дикарь получил все необходимые ему сведения, после чего спустился вниз, на семнадцатый этаж, в палату № 81 (как объяснили Дикарю в справочном бюро, это была палата для больных, страдающих быстро прогрессирующим старческим одряхлением) .

Палата № 81 представляла собою огромную, покрашенную в нежно-голубой цвет комнату, залитую ярким солнцем. В палате стояло двадцать коек, и все они были сейчас заняты. Линда умирала в компании других умирающих и, как все они, до самого конца пользовалась всеми современными удобствами и достижениями цивилизации. В воздухе нежно звучали синтетические мелодии. У коек стояли включенные телевизоры, работавшие круглые сутки, без перерывов. Мощные парфюматоры каждые четверть часа автоматически меняли аромат в палате.

— Мы делаем все, чтобы обеспечить умирающим приятную обстановку, — объяснила Дикарю

Старшая Сестра. — У нас тут что-то среднее между первоклассным отелем и чувствилищем...

— Где она? — прервал Дикарь излияния Сестры.

— А вы действительно очень спешите! — обиженно сказала Сестра.

— Есть ли надежда? — спросил он.

— Какая? Вы имеете в виду: надежда на то, что пациентка не скончается?

Дикарь кивнул.

— Нет, разумеется, подобной надежды нет и быть не может. Когда пациента привозят к нам, это означает, что летальный исход совершенно неизбе...

Сестра осеклась, пораженная выражением горя, появившимся на лице у Дикаря.

— В чем дело? Вы себя плохо чувствуете? — спросила Сестра участливо. — Может быть, вы больны?

Он покачал головой.

— Она моя мать, — сказал он еле слышно.

Сестра разинула рот, глаза у нее округлились, как блюдца; затем она быстро отвернулась, покраснев до маковок волос.

— Отведите меня к ней, — сказал Дикарь, стараясь говорить как можно спокойнее.

Все еще заливаясь краской, Старшая Сестра ввела Дикаря в палату. Они прошли мимо коек, на которых лежали умирающие — большей частью внешне совершенно, казалось бы, здоровые люди, без единой морщинки на лице, со свежим цветом кожи (ибо современная наука сумела воспрепятствовать появлению у людей внешних признаков одряхления, и изнашивались только сердце и мозг). Линда занимала койку № 20, в дальнем углу палаты. В изножье койки стоял телевизор; и Линда, полулежа на подушках, неотрывно смотрела в экран, на котором шла прямая трансляция полуфинального матча на первенство Южной Америки по Теннису Римана. Звук был убран до минимума. Линда отсутствующе улабалась, и на лице у, нее застыло выражение неизъяснимого блаженства.

— Простите, но у меня дела, — сказала Старшая. Сестра. — Мне как раз нужно принять группу детей, а кроме того, я должна последить за пациентом № 3, — она показала пальцем на другой угол палаты, — он, того гляди, может скончаться. Устраивайтесь поудобнее, вот вам кресло.

И она поспешно удалилась.

Дикарь опустился в кресло около постели.

— Линда! — позвал он, взяв Линду за руку.

Услышав свое имя, Линда вздрогнула и повернулась. В ее глазах заискрилась было какая-то теплота (казалось, она узнала своего Джона); она сжала его руку, губы ее слегка зашевелились. Но огонек узнавания в ее глазах тотчас же снова погас, голова свесилась на грудь, и Линда мгновенно уснула. Джон посидел подле нее, воскрешая в памяти впечатления своего детства: он вспомнил, как это обрюзгшее лицо (тогда еще не такое обрюзгшее) склонялось над его зыбкой, когда он засыпал; вспомнил, как Линда пела ему песенки — непонятные, но такие сладкие ("Радости нет, и жизнь не мила без утепленного санузла")... Он почувствовал, что по щекам у него потекли слезы... Линда тогда в Мальпаисе рассказывала ему восхитительные сказки про Внешний Мир — необыкновенный Внешний Мир где-то за пределами Заповедника — прекрасный, прекрасный Внешний Мир; и воспоминание об этом чудесном мире, о светлом рае добра и красоты до сих пор сохранялось в нем, незамутненное его недавним столкновением с жизнью этого реального Лондона, этих реальных мужчин и женщин, живущих в условиях Цивилизации.

Неожиданно поблизости раздались высокие, пронзительные голоса. Джон очнулся от грез, под-

нял голову и огляделся вокруг. В дверь вливался словно бы нескончаемый поток неотличимых друг от друга восьмилетних мальчиков- близнецов, одетых в хаки. Тихая палата сразу же наполнилась оглушительным гамом и визгом. Дети стали прыгать, бегать и ползать по всей палате — они залезали под койки, пялились в экраны телевизоров, играли в пятнашки между койками, строили гримасы, умирающим.

Линда их поразила и даже немного напугала. Вокруг ее постели сгрудилась кучка близнецов: с боязливым любопытством они таращились на это необычное, непонятное существо.— Гляди! Гляди! — произнес один близнец тихим, испуганным голосом. — Что с ней? Почему она такая толстая?

Они никогда еще не видели ничего подобного — не видели лица, которое не было бы юношески-свежим и загорелым, не видели тела, потерявшего стройность. Сорокачетырехлетняя Линда казалась им каким-то дряхлым чудовищем.

— Ух, какая уродина! — прошептал кто-то. — Посмотри, какие у нее зубы.

Неожиданно из-под кровати, откуда ни возьмись, выполз близнец с курносым приплюснутым

носом и необыкновенно тупым выражением лица. Он пристроился между кроватью и креслом Дикаря и выпялился на спящую Линду.

— А я думаю... — начал было он, но не успел договорить: железная рука Дикаря сграбастала его за шиворот, подняла в воздух и отшвырнула прочь с такой силой, что он пролетел добрую половину палаты.

Близнец завопил во всю мочь; на его вопли прибежала Старшая Сестра.

— Что вы ему сделали? — гневно спросила она. — И вообще, что вы тут себе позволяете! Я не допущу, чтобы вы избивали детей!

— Ну так прикажите им не приближаться к этому одру, — с еле сдерживаемой яростью потребовал Дикарь. — Что здесь нужно этим грязным отродьям? Какое кощунство!

— Кощунство? Да что вы там мелете? Они проходят курс программированного привыкания к смерти; этот метод — вершина современной человеководческой науки. Так что зарубите себе на носу: если вы еще раз посмеете вмешаться, я позову охрану, и они в два счета вышвырнут вас отсюда.

Дикарь поднялся и сделал шаг по направлению к Сестре. Его лицо и походка не предвещали ни-

чего хорошего, и Сестра в ужасе попятилась. Но усилием воли Дикарь обуздал себя, повернулся и, ничего не сказав, молча сел у постели Линды.

Увидев, что ничего страшного не произошло. Сестра приободрилась.

— Я вас предупредила, — сказала она, — так что имейте в виду.

Однако она все-таки благоразумно увела наиболее настырных близнецов подальше от Линдиной кровати — в другой угол палаты, где под руководством одной из младших сестер остальные дети уже увлеклись игрой в "прятки-пипки".

— Вы можете пойти пока и выпить чашку раствора кофеина, а я с ними поиграю, — сказала Старшая Сестра младшей сестре (ощущение начальственной власти вернуло ей спокойствие и уверенность в себе). — Ну, дети! Ко мне!

Линда беспокойно пошевелилась, открыла на секунду глаза и снова погрузилась в дрему. Минут через пятнадцать она проснулась еще раз, приподнялась на подушках, уставилась в экран телевизора, с минуту вглядывалась в него, втягивая ноздрями надушенный воздух, а потом вдруг улыбнулась — улыбнулась восторженной ребяческой улыбкой.

— Попе! — пробормотала она и прикрыла глаза.

— О, мне так хорошо, мне так...

Она вздохнула и опять грузно опустилась в постель.

— Но, Линда! — умоляюще сказал Дикарь. — Неужели ты меня не узнаешь? Линда, ты узнаешь меня?

В его глазах заблестели слезы. Он нагнулся над кроватью и поцеловал Линду.

Ее губы зашевелились.

— Попе! — прошептала она еще раз.

Дикарь почувствовал себя так, словно ему в лицо плеснули помоями.

— Но я же Джон! — закричал он. — Я Джон!

Он схватил Линду за плечо и сильно встряхнул.

Линда широко раскрыла глаза. Она увидела его, узнала его — "Джон!" — но его реальное лицо, его реальные сильные руки претворялись для нее во что-то воображаемое, из чего состояла вся вселенная ее галлюцинаций. Она поняла, что он — Джон, ее сын, но он был для нее сейчас осквернителем мальпаисского рая, где она наслаждалась соматическим отдыхом в объятиях Попе. Он разъярился из-за того, что Линда с нежностью вспоминала теперь про своего любимого Попе, он тряс ее за плечи, потому что Попе лежал сейчас

вместе с ней в этой постели — как будто в этом было что-то плохое, как будто этого не случается со всякими людьми, даже самыми что ни на есть цивилизованными!

— Каждый человек принадлежит... — прошептала Линда.

Голос ее неожиданно затих и перешел в какое-то клокотание, рот открылся, она стала судорожно глотать воздух. Но, казалось, Линда уже разучилась дышать. Она попыталась вскрикнуть, но из этого ничего не получилось, и только ужас и боль в ее глазах выдавали, что она страдает. Ее руки поднялись к горлу, потом начали шарить в воздухе — Линда не могла больше дышать, воздух переставал существовать для нее.

Дикарь вскочил на ноги и склонился над ней.

— Что с тобой, Линда? — крикнул он умоляюще, словно прося вернуть ему надежду. — Что с тобой?

Во взгляде ее он уловил ужас — и вместе с ужасом, как ему показалось, упрек. Она попыталась было приподняться, но снова кулем свалилась на подушки. Лицо ее исказилось, губы посинели.

Дикарь опрометью кинулся через палату.

— Скорее, скорее! — заорал он. — Скорее!

Старшая Сестра, окруженная гурьбой близне-

цов, игравших в "прятки-пипки", обернулась. Выражение изумления у нее на лице сразуже сменилось недовольной гримасой.

— Перестаньте орать! — прошипела она. — Подумайте об этих крошках. Вы же можете их распрограмми... Что вы делаете? Осторожнее!

Дикарь ворвался в круг детей; раздалось хныканье.

— Скорее, скорее! — он схватил Сестру за рукав и потянул за собой. — Скорее! Что-то случилось! Я ее убил!

Когда они подбежали к койке № 20, Линда была мертва.

Дикарь несколько мгновений постоял неподвижно, как оцепенелый, а потом рухнул перед кроватью на колени и залился слезами.

Сестра оторопела и не знала, что ей делать. У нее на глазах взрослый мужчина из высшей касты вдруг бухнулся на колени перед постелью только что скончавшейся пациентки и захныкал, как ребенок-дельта. Само по себе это уже было достаточно скандальное зрелище, а тут еще вдобавок такое произошло на глазах у несмышленых детей, которые, конечно, сразу же позабыли про свою игру и во все глаза уставились (бедненькие малютки!) на дикую сцену, которую этот псих

разыгрывал перед койкой № 20. "Что мне теперь делать? — думала Сестра. — Поговорить с ним? Постараться его вразумить, убедить его вести себя прилично? Напомнить ему, где он находится? Объяснить, какой непоправимый вред он может нанести этим невинным младенчикам? Ведь он же своими отвратительными криками их совершенно распрограммирует: как будто смерть — это нечто ужасное, нечто такое, из-за чего следует расстраиваться! Несчастные детки будут совершенно сбиты с толку, у них разовьются неверные реакции, и они начнут вести себя антиобщественно...".

Сестра сделала шаг вперед и тронула Дикаря за плечо.

— Ведите себя прилично! —сказала она негромко, с угрозой в голосе.

Но тут она обернулась и увидела, что пятеро или шестеро детей уже двигаются к койке № 20. Еще минута, и... Нет, опасность была слишком велика: то, что происходило сейчас в палате, могло распрограммировать всю группу, отбросить ее на шесть-семь месяцев назад в человеководческом воспитании. Нужно было, не теряя времени, немедленно что-то предпринять. Сестра бросила Дикаря и заторопилась к своим подопечным.

— Ну, кто хочет шоколадный эклер? — спросила она громким, неестественно радостным голосом.

— Я! — завопила хором вся бокановскифицированная группа; койка № 20 была мгновенно забыта.

— О Боже, Боже, Боже! — повторял про себя Дикарь; терзаясь горем и раскаянием, он не мог найти никаких других слов. — Боже! — громко прошептал он. — Боже!

— А что он говорит? — произнес у него за спиной чей-то звонкий голос.

Дикарь вскочил и оглянулся. Рядом с ним стояли пятеро близнецов, одетых в хаки, каждый с эклером в руках. Их одинаковые лица были вымазаны шоколадом, и десять глаз изумленно впивались в Дикаря.

— Она умерла? — спросил один из близнецов.

Несколько мгновений Дикарь молча глядел на них. Затем — так же молча — он повернулся и медленно пошел к двери.

— Она умерла? — повторил любознательный близнец, труся рядом с ним.

Дикарь поглядел на него сверху вниз и, не отвечая, оттолкнул от себя. Тот плюхнулся на пол и заревел. Дикарь даже не оглянулся.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Штат обслуживающего персонала Парк-Лейнской Больницы для Умирающих состоял из ста шестидесяти двух дельт, которые принадлежали к всего лишь двум бокановскифи- цированным группам идентичных близнецов: группе из восьмидесяти четырех рыжеволосых особей женского пола и группе из семидесяти восьми долихоцефалических особей мужского пола. По окончании рабочего дня, ровно в шесть часов вечера, обе группы дельт собирались в просторном вестибюле Больницы, где Заместитель Заведующего Хозяйственным Управлением Больницы выдавал им положенный дневной рацион сомы.

Случилось так, что, когда Дикарь покинул палату, в которой умерла Линда, было как раз шесть часов; и, выйдя в вестибюль из лифта, он неожиданно для себя очутился в толпе дельт, ожидавших выдачи сомы. Однако мыслями Дикарь витал далеко-далеко, и он, сам не сознавая, что делает, стал плечами и локтями прокладывать себе путь сквозь толпу.

— Эй, чего пихаешься? Куда прешь?

Тихо и громко, вызывающе и обиженно, с Дикарем десятками ртов говорили только два голоса; и, куда бы он ни бросал взгляд, со всех сторон на него глядели только два лица, словно размно-

женные сложной системой зеркал. И тут Дикарь очнулся от оцепенения, вернулся к действительности и осознал, в каком мире он находится. Он поворачивался налево, направо, назад, но повсюду, к своему ужасу и отвращению, он видел одни и те же два лица, которые двоились, троились, шестерились, двадцатирились, пяти- десятирились... Близнецы, близнецы! Куда ни кинь глазом, спасу нет от близнецов! Как неотличимые одна от другой мушиные личинки, они дерзко, нагло кишели вокруг Дикаря, стремясь омерзить таинство кончины Линды, — как личинки, но только куда крупнее и гаже, они ползли сквозь его горе и его покаяние. Дикарь помедлил и безумным взглядом обвел копошащийся вокруг него суетливый рой одинаковых существ, обряженных в одинаковую одежду цвета хаки. "Как много добрых лиц! — ехидно заглумились над ним звенящие шекспировские строки. — Как род людской прекрасен! О счастливый новый мир!"

— Распределение сомы! — объявил чей-то звонкий голос — В очередь, пожалуйста! Скорей!

Открылась дверь, и в вестибюль вкатили стол и кресло. Звонкий голос принадлежал молодому разбитному альфе, который только что вошел через боковую дверь, неся под мышкой

черный железный ящик (этот молодой альфа и был Заместитель Заведующего Хозяйственным Управлением — или, как его сокращенно называли, ЗамЗавХУ). По толпе дельт пронеслись радостные охи и ахи, и Дикарь был сразу же позабыт. Внимание дельт было теперь неотторжимо приковано к черному железному ящику. ЗамЗавХУ водрузил этот ящик на стол и вставил в скважину ключ. Раздался щелчок, и крышка ящика откинулась.

— О-о-оох! — одновременно вырвалось из ста шестидесяти двух ртов, словно перед дельтами был не какой-то невзрачный железный ящик, а волшебная шкатулка, извергающая в воздух искрометный фейерверк.

Молодой альфа вынул из ящика горсть пакетиков с таблетками.

— Ну, — сказал он заученным тоном, без всякого выражения, — прошу подходить. Только по одному! И не толкаться!

По одному, не толкаясь, двойники-дельты двинулись вперед. Сначала двое самцов, потом самка, потом еще один самец, потом три самки, потом...

Дикарь стоял и смотрел. "О счастливый новый мир! О счастливый новый мир!" Стихи, колотив-

шиеся у него в мозгу, казалось, вдруг сменили свою интонацию. Раньше они глумились над его горем и покаянием — глумились над ним с отвратительным циничным ехидством — измывались над его былой прекраснодушной грезой, обернувшейся таким мерзостным, таким тошнотворным кошмаром. А теперь эти строки неожиданно затрубили призыв к оружию: "О счастливый новый мир!" — Миранда провозглашала, что есть еще в мире добро и красота, что еще не поздно покончить с кошмаром и снова превратить его в светлую, чистую грезу. "О счастливый новый мир!" — это был ратный клич, приказ катаке.

— А ну, прекратить толкотню! — прикрикнул ЗамЗавХУ и захлопнул крышку ящика. — Ведите себя прилично, а то я прекращу раздачу сомы.

Дельты испуганно зашушукались, потом смолкли и застыли, как окаменелые. Угроза немедленно оказала свое действие. Лишиться сомы — что могло быть ужаснее?

— Вот так-то лучше! — сказал ЗамЗавХУ.

Линда всю свою жизнь была рабыней и умерла рабыней. Но другие люди должны стать свободными — и тогда мир будет воистину прекрасен. Обязанность, ответственность, долг... И неожиданно Дикарю стало ясно, что он должен делать:

это было — как если бы вдруг распахнулись тяжелые ставни, отдернулась черная занавесь...

— Ну! — сказал ЗамЗавХУ. — Подходи в порядке живой очереди!

Из толпы дельт выступила еще одна самка в хаки и приблизилась к столу.

— Стойте! — громовым голосом заорал Дикарь. — Стойте!

Он быстро протолкался сквозь толпу и оказался около

стола; дельты вытаращились на него, не в силах взять в толк, что происходит.

— О Форд! — еле слышно произнес ЗамЗавХУ. — Да ведь это же Дикарь!

Ему стало страшно.

— Умоляю вас, внимайте мне! — закричал Дикарь (прежде ему никогда не приходилось произносить речи перед толпой, и он неожиданно осознал, что не знает, как начать). — О лондонцы! Сограждане! Друзья! Ко мне ваш слух склоните! Отвергните это страшное зелье! Оно — отрава, гибельная отрава!

— Простите, мистер Дикарь, — вмешался ЗамЗавХУ, примирительно улыбаясь. — Позвольте мне...

— Отрава и для души, и для тела!

— Весьма возможно, но все-таки позвольте мне закончить раздачу сомы. Прошу вас, не мешайте мне работать. Будьте любезны, разрешите мне...

— Ни за что! — воскликнул Дикарь.

— Но послушайте, старина...

— Выбросьте ее вон — эту гибельную отраву...

Прежде бедняги-дельты из всего этого разговора решительно ничего не понимали, но призыв выбросить заветную сому дошел до их сознания — и этого оказалось достаточно, чтобы в толпе поднялся глухой ропот.

— Я пришел принести вам свободу! — провозгласил Дикарь, поворачиваясь к толпе близнецов. — Я пришел...

Но ЗамЗавХУ больше не слушал: он выскользнул из вестибюля и лихорадочно разыскивал в телефонной книге нужный номер.

— У себя его нет, — сказал Бернард. — У меня тоже, и у тебя. И его нет ни в Афродитеуме, ни в ИЧП, ни в ИЭКе. Где он может быть?

Гельмгольц пожал плечами. После работы он и Бернард ожидали найти Дикаря в одном из тех мест, где они уже привыкли встречаться по вечерам, но нынче его нигде не оказалось. И это было обидно, ибо они собирались на четырехместном вертолете Гельмгольца отправиться в Биарриц.

— Если он вот-вот не появится, мы опоздаем на прием, — сказал Бернард.

— Ладно, дадим ему еще пять минут форы, — предложил Гельмгольц. — Если за это время...

В этот момент зазвонил телефон. Гельмгольц поднял трубку.

— Алло. Да, это я

Он долго слушал, ничего не отвечая, а потом неожиданно ругнулся:

— А, Форд в лимузине! Ладно, я сейчас буду!

— Кто это звонил? — спросил Бернард.

— Один мой знакомый из Парк-Лейнской Больницы. Дикарь сейчас там. Он ведет себя так, словно сошел с ума. Как бы то ни было, дело срочное. Поедешь со мной?

Бернард кивнул, и оба кинулись к лифту.

— Или вам любо быть рабами? — говорил Дикарь, когда Гельмгольц и Бернард вбежали в вестибюль Больницы; лицо его пылало, глаза сверкали гневом и возбуждением. — Вам любо всю жизнь оставаться младенцами? Да, младенцами, которые хлюпают и проказят!

Раздраженный их животной тупостью, Дикарь начал уже осыпать оскорблениями тех, кого он взялся спасать. Но от непробиваемого панциря их тупости отскакивали любые оскорбления, и дель-

ты глядели на Дикаря с бессмысленной, угрюмой злобой, даже не понимая, что он их оскорбляет.

— Да, хлюпают и проказят! — заорал Дикарь.

Горе и покаяние, жалость и долг — все это было теперь забыто, все это было поглощено захлестнувшей Дикаря жгучей ненавистью к этим недочеловекам.

— Или вам не хочется обрести свободу? Не хочется стать мужами? Неужели вам неведомо, что такое свобода и мужество?

Ярость придала Дикарю красноречия, и слова теперь лились легко и свободно.

— Неужели нет? — повторил он, но не получил ответа. — Хорошо, — сказал он мрачно, с угрозой в голосе, — так я вам объясню. Я сделаю вас свободными, хотите вы этого или нет!

И, открыв окно, которое выходило на внутренний двор Больницы, Дикарь начал остервенело, обеими руками, выхватывать из ящика горсти пакетиков с таблетками сомы и выбрасывать их в окно.

На мгновение одетая в хаки толпа застыла, как оглушенная: оторопело, точно завороженные, смотрели дельты на это неслыханное святотатство.

— Он с ума сошел! — прошептал Бернард, глядя

на Дикаря округлившимися от ужаса глазами. — Да ведь они же его растерзают! Они...

В этот момент в толпе дельт раздался пронзительный крик, и они угрожающе двинулись к Дикарю.

— Помоги ему, Форд! — сказал Бернард и закрыл глаза.

— Форд помогает тому, кто сам себе помогает, — со смешком ответил Гельмгольц и ринулся в толпу.

— Вы свободны! Вы свободны! — кричал Дикарь, одной рукой бросая за окно пакетики с сомой, а другой нанося удары по неотличимым друг от друга физиономиям нападающих. — Свободны! Свободны!

Неожиданно он увидел, что рядом с ним оказался Гельмгольц, который тоже, засучив рукава, принялся отражать натиск напиравших дельт и одновременно помогать Дикарю выбрасывать за окно сому.

— А, старина Гельмгольц, мой добрый друг! — воскликнул Дикарь. — Наконец-то из младенцев вы стали мужами! — провозгласил он и, перевернув ящик, в котором уже не осталось сомы, показал дельтам его черную пустоту. — Вы свободны! Свободны!

Однако это только подбавило масла в огонь: дельты усилили натиск.

"Им крышка", — подумал Бернард, колеблясь, ввязаться ли ему тоже в драку или благоразумно ретироваться: сперва, поддавшись внезапному порыву, он кинулся было на помощь друзьям, затем нерешительно остановился, затем, устыдясь, снова бросился вперед, затем снова остановился — и так он метался между желанием помочь и разумной осторожностью (думая: "Если я им не помогу, они погибнут; но если я брошусь им на помощь, то и я погибну вместе с ними"), когда вдруг ("Слава Форду!") распахнулись двери, и в вестибюль ворвался отряд полицейских в противогазах, напоминавших свиные рыла.

Бернард, неистово размахивая руками, радостно кинулся навстречу полицейским: как-никак, а это было с его стороны хоть какое-то действие, он тоже что-то делал.

— На помощь! — завопил Бернард и стал голосить все громче и громче, чтобы доказать самому себе, что он тоже не сидит сложа руки, что он помогает своим друзьям. — На помощь! На помощь! На помощь!

Полицейские отстранили Бернарда и принялись за дело. Трое из них, орудуя огромными

пульверизаторами, выпустили в воздух густые пары сомы. Двое других включили портативные проигрыватели синтетической музыки. А еще четверо полицейских, размахивая водяными пистолетами, заряженными сильным анестезирующим раствором, врезались в толпу и начали методически приводить в бесчувствие наиболее яростных драчунов.

— Скорее, скорее! — вопил Бернард. — Если вы не поторопитесь, они погибнут! На помощь! На помощь! Они... Ах!

Раздраженный его воплями, один из полицейских разрядил в Бернарда свой пистолет. Бернард замер, секунду- другую постоял, качаясь на неподчиняющихся ногах, которые вдруг мистическим образом лишились всех своих костей и превратились в какое-то мягкое желе — нет, даже не в желе, а в воду, — а потом как подкошенный рухнул на пол.

И тут из проигрывателя раздался Голос. Это был Голос Разума, Голос Доброжелательности. В проигрывателе раскручивалась кассета с Противобунтовой Речью № 2 (средняя интенсивность).

— Друзья мои! Друзья мои! — исходя из самых глубин несуществующего сердца, произнес Голос таким проникновенным тоном, с таким бес-

конечно трогательным выражением нежного упрека, что даже глаза полицейских под свиными рылами противогазов увлажнились слезами.
— Друзья мои! Что это означает? Почему вы не сплотились в счастливом и радостном единении? В счастливом и радостном единении! — повторил голос и снизился до трогательного шепота. — В мире и согласии! О, я хочу, чтобы вы все были счастливы! Я хочу, чтобы всем вам было хорошо! Пожалуйста, успокойтесь, и...

Через две минуты Голос и сома сделали свое дело. Обливаясь слезами, дельты обнимали и целовали друг друга, сгрудившись в кучки по десять-пятнадцать человек. Даже у Гельмгольца и Дикаря запершило в горле. Из Административно-хозяйственного Отдела принесли новый ящик сомы, которую быстро распределили между дельтами, и те стали расходиться, растроганные и довольные, под напутствие Голоса, который провожал их, говоря:

— До свиданья, дорогие, дорогие друзья мои, да хранит вас Форд! До свиданья, дорогие, дорогие друзья...

Когда последние дельты исчезли за дверьми, полицейские отключили проигрыватель. Ангельский голос умолк.

— Ну, как, пойдете добром, — спросил сержант, угрожающе подняв пистолет, — или мне придется вас анестезировать?

— О, мы пойдем добром, — ответил Дикарь, потирая попеременно то рассеченную губу, то расцарапанную шею, то укушенную левую руку.

Прижимая платок к расквашенному носу, Гельмгольц молча кивнул.

В это время Бернард, который уже очнулся и несколько восстановил свою способность владеть собственными ногами, улучил момент, когда на него никто не глядел, и стал украдкой продвигаться к двери.

— Эй, вы там! — позвал сержант. — Хотите удрать?

Один из полицейских, не снимая свиного рыла, в два прыжка пересек комнату и положил руку Бернарду на плечо.

Бернард обернулся с выражением оскорбленной невинности. Удрать? Да у него и в Мыслях такого не было! Неужели он мог бы удрать, бросив своих друзей на произвол судьбы?

— Чего вы от меня хотите? — спросил Бернард сержанта. — Не понимаю, зачем я вам нужен?

— Вы — друг арестованных, разве не так?

— Видите ли... — неуверенно промямлил Бер-

нард ("Впрочем, — подумал он, — бессмысленно было бы это отрицать") . — Да, я их друг; а что в этом такого?

— Ну, так пройдемте, — сказал сержант и двинулся (а за ним двинулись и все остальные) к полицейскому вертолету.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Троих арестованных ввели в просторную комнату. Это был кабинет Правителя.

— Его Фордство сейчас придет, — сказал дворецкий-гам- ма и выскользнул из комнаты, оставив троих друзей в одиночестве.

Гельмгольц громко расхохотался.

— Это больше похоже на вечеринку с кофеиновыми коктейлями, чем на арест, — сказал он и плюхнулся в самое роскошное пневматическое кресло, какое только было в комнате. — Ну, Бернард, приободрись! — добавил он, видя, что позеленевшее лицо его друга исказилось гримасой отчаяния.

Но бодрости в Бернарде не осталось ни на грош. Не отвечая и даже не глядя на Гельмгольца, он пересек комнату и, внимательно оглядевшись, сел на краешек самого неудобного стула, какой только можно было найти в кабинете, в затаенной

надежде, что такое смирение хоть как-то сможет смягчить ожидаемый гнев Верховной Власти.

Тем временем Дикарь беспокойно кружил по кабинету, с рассеянным любопытством разглядывая корешки многочисленных книг на стеллажах, кассеты с магнитофонными пленками и бобины читающей машины, хранящиеся в пронумерованных секциях. На письменном столе у окна лежал массивный том в переплете из черного суррогата кожи; на обложке была вытиснена большая позолоченная буква "Т". Дикарь взял книгу, раскрыл ее и прочел на титульном листе: "НАШ ФОРД. МОЯ ЖИЗНЬ, МОИ ДОСТИЖЕНИЯ".

Книга была выпущена в Детройте издательством Общества по Распространению Фордианских Знаний. Дикарь начал безучастно перелистывать страницы, прочитывая фразу здесь, абзац там, и он как раз пришел к заключению, что книга эта мало его интересует, когда дверь отворилась и в кабинет быстрым, легким шагом вошел Пожизненный Правитель Западной Европы.

Мустафа Монд пожал руки всем троим, но первым, к кому он обратился, был Дикарь.

— Так, стало быть, вам как будто не очень нравится Цивилизация, мистер Дикарь, — сказал он.

Дикарь с любопытством взглянул на Правителя. Он уже настроился было на то, чтобы лгать, изворачиваться или, в крайнем случае, угрюмо отмалчиваться; но теперь, взглянув в умные, светившиеся мягкой иронией глаза Правителя, Дикарь неожиданно решил не вилять и резать правду- матку.

— Нет, не нравится, — ответил он и покачал головой.

Бернард вскочил со стула, в глазах у него вспыхнул ужас.

Что теперь подумает о нем Правитель? Прослыть другом человека, который во всеуслышание заявил, что ему не нравится цивилизация, — заявил громко, в открытую и, мало того, кому? Самому Правителю! Это было ужас что такое!

— Но, Джон... — проговорил он.

Один беглый взгляд Правителя заставил его униженно умолкнуть.

— Разумеется, — снисходительно продолжал Дикарь, — Цивилизация сотворила и некоторые весьма отрадные, прельстительные вещи. К примеру, вся эта сладкозвучная музыка, звенящая в воздухе...

— "Порою сотни сладкозвучных струн звучат в моих ушах, порою пенье", — процитировал

Правитель.

Лицо Дикаря озарилось неожиданной радостью.

— Что? Вы тоже это читали? — спросил он. — А мне казалось, здесь, в Англии, никто не знает Шекспира...

— Почти никто. Я — один из весьма и весьма немногих. Видите ли, Шекспир у нас запрещен законом. Однако поскольку я создаю здесь законы, я могу и нарушать их. Нарушать безнаказанно, мистер Маркс, — добавил Правитель, поворачиваясь к Бернарду. — Чего вам, боюсь, делать не разрешается.

Бернард впал в еще более безнадежное уныние.

— Но почему, почему Шекспир запрещен? — спросил Дикарь; возбужденный встречей с человеком, который читал Шекспира, он сразу же забыл обо всем остальном.

Правитель пожал плечами.

— Потому что это — далекое прошлое. Вот главная причина. В нашем обществе нет места прошлому.

— Даже если оно прекрасно?

— Особенно если оно прекрасно. Красота очень соблазнительна, а мы не хотим, чтобы людей

современного общества соблазняло прошлое. Мы хотим, чтобы им нравилось только то, что ново.

— Но ведь то, что ново, часто бывает столь скудоумно и мерзостно! Хотя бы это лицедейство, в коем ничего нет — одни лишь летающие вертолеты да бездушные людишки, чьи лобзанья мы ощущаем на своих устах. — Лицо Дикаря исказилось гримасой отвращения. — "Блудливые козлы и обезьяны!" — Лишь словами Отелло мог Дикарь выразить всю глубину своего презрения и своей ненависти.

— Что ж, это милые, прирученные животные, — с отеческой доброжелательностью сказал Правитель.

— Так почему же вы не дадите им позволение вместо этого читать "Отелло"?

— Я уже вам сказал. "Отелло" — это далекое прошлое. Да к тому же, современные люди просто-напросто не поняли бы Шекспира.

Да, это правда. Дикарь вспомнил, как Гельмгольца ког- да-то рассмешили строки из "Ромео и Джульетты".

— Ну, пусть бы и так, — согласился Дикарь. — Но почему никто не напишет современной трагедии — такой же, как "Отелло", но чтобы все могли ее понять.

— Да, да, это как раз то, что все мы хотели бы написать, — вставил Гельмгольц, нарушив свое долгое молчание.

— Но вам никогда не удастся написать ничего подобного, — ответил Правитель. — Потому что, будь ваша трагедия и вправду такой же, как "Отелло", ее бы все равно никто не понял, какой бы она ни была новой и современной. Да, к тому же, если бы она действительно была новой и современной, она никогда не могла бы стать такой, как "Отелло".

— Почему? — спросил Дикарь.

— Да, почему? — спросил Гельмгольц.

Увлеченный разговором, Гельмгольц тоже забыл, как он здесь оказался. Один лишь Бернард помнил, что все они в беде и что им грозит кара; но на него никто не обращал никакого внимания.

— Так почему же?

— Потому что мы живем совершенно не в том мире, в каком жил Отелло. Чтобы создать машину, нужна сталь; а чтобы создать трагедию, нужна общественная неустойчивость. Однако в нынешнем мире царит полнейшая устойчивость. Все люди счастливы. Они получают все, что им хочется, и им никогда не хочется того, чего они

не могут получить. Вспомните, что говорится в том же "Отелло":

Бедняк, довольный тем, что он имеет,
Достаточно богат; но толстосум,
Живущий под угрозой разоренья, —
Вот он и вправду самый жалкий нищий...

Люди современного общества живут достаточно зажиточно; они чувствуют себя в безопасности; они не тревожатся за завтрашний день; они никогда не болеют; они не боятся смерти; они пребывают в блаженном неведении относительно того, что такое сильные страсти и старческая дряхлость; им не докучают отцы и матери; у них нет детей, жен и возлюбленных, по отношению к которым они могли бы испытывать какие-то сильные чувства; программированное человеководческое воспитание приучило их к тому, что они просто-напросто не могут вести себя как-то иначе, чем они должны себя вести. А если случается что-нибудь нежелательное, если что-нибудь неладно, так на это есть сома. Та самая сома, которую вы, мистер Дикарь, вышвырнули в окно во имя свободы. Свободы! — Мустафа Монд расхохотался. — Вы хотели, чтобы дельты поняли, что такое свобода! А теперь хотите, чтобы они поняли Шекспира! Мой бедный наивный мальчик!

Дикарь помолчал.

— И все-таки, — сказал он упрямо, — Шекспир велик. Шекспир во стократ более велик, чем все эти чувствилища.

— Безусловно! — согласился Правитель. — Но это — та цена, которую мы вынуждены платить за общественную устойчивость. Приходится выбирать между счастьем и тем, что люди когда-то называли высоким искусством. Мы пожертвовали высоким искусством. Вместо этого у нас есть чувствилища, сексофоны и аромативный орган.

— Но ведь они же ничего не дают ни уму, ни сердцу.

— Они дают то, что в них есть. Они дают людям множество приятных ощущений.

— Но ведь это... "Это — повесть, которая рассказана глупцом: в ней есть и шум, и ярость, нет лишь смысла..."

Правитель рассмеялся.

— Не очень-то вы высокого мнения о творчестве своего друга мистера Уотсона. А ведь он — один из наших знаменитейших Инженеров Человеческих Эмоций...

— Но это правда, — угрюмо прервал Гельмгольц. — Потому что все мои писания — действительно сплошная глупость. Писать, когда тебе нечего

сказать...

— Вот именно: когда нечего сказать. Но чтобы так писать, нужен особенно великий талант. Вы изготовляете машины из абсолютного минимума стали — создаете произведения искусства практически из ничего, из одних лишь чистых ощущений.

Дикарь потряс головой.

— А мне кажется, что это ужасно.

— Разумеется, вам так кажется. Но подлинное счастье всегда выглядит куда как убого по сравнению с воздаянием за перенесенные страдания. И, само собой, устойчивость далеко не так эффектна, как неустойчивость. И в довольстве жизнью нет той высокой романтики, которая есть в ратоборстве человека против враждебной судьбы, нет того живописного ореола, которым окружена борьба с искушением или же победа страстей и сомнений. Счастье никогда не бывает захватывающим зрелищем.

— Может быть, и нет, — помолчав, ответил Дикарь. — Но почему счастье должно всенепременно выглядеть настоль- к о убого? Да взглянуть хоть на всех этих близнецов! Они же отвратительны!

— Но зато как полезны! Я вижу, вам не нравятся

наши бокановскифицированные группы. Но, уверяю вас, бока- новскификация — это основа всего нашего общественного строя. Бокановскификация — это гироскоп, который придает устойчивость движущейся ракете и не позволяет ей отклоняться от намеченного курса.

— Меня все время удивляло, — сказал Дикарь, — для чего вам все эти группы и касты? Ведь в вашей воле декантировать . из своих колб все, что только душе угодно. Почему, если так, вы не хотите сделать всех людей альфам и-дубль-плюс?

Мустафа Монд засмеялся.

— Потому что мы не хотим, чтобы нам всем перерезали глотки, — ответил он. — Мы верим в счастье и верим в устойчивость, А общество, состоящее из одних только альф, неизбежно будет неустойчивым и несчастливым. Представьте себе завод, на котором работают сплошные альфы — то есть, непохожие друг на друга самобытные личности, имеющие хорошую наследственность и запрограммированные таким образом, что все они обладают безграничной способностью делать свободный выбор и принимать на себя ответственность. Представьте себе такую фабрику!

Дикарь попытался себе это представить, но без большого успеха.

— Это была бы полнейшая нелепость! Да ведь люди, декантированные как альфы и запрограммированные как альфы, просто свихнулись бы, если бы им пришлось делать черную работу, которую делают эпсилоны; свихнулись бы и начали бы крушить станки. Альфы могут быть неотъемлемой и стабильной частью общества только при условии, что они занимаются именно тем, чем положено заниматься альфам. И только от эпсилона можно потребовать, чтобы он приносил жертву, делая черную работу эпсилона, — по той простой причине, что для него это вовсе не жертва, а путь наименьшего сопротивления. Программированное воспитание эпсилона проложило для него рельсы, по которым ему положено двигаться всю жизнь. Он ничего не может с этим поделать: его путь предопределен. Даже после того, как он декантировался, он все равно как бы остается в колбе — в незримой колбе зафиксированных инфантильно-эмбриональных рефлексов. Впрочем, и все мы, — задумчиво добавил Правитель, — всю свою жизнь проводим в подобной же незримой колбе. Но если нам довелось стать альфами, наши колбы, относительно говоря, огромны. Мы стали бы жестоко страдать, если бы нас заключили в более тесное пространство. Нельзя разлить

высококачественный суррогат шампанского в крохотные бутылочки, из которых хлещут свое пойло низшие касты: такую бутылочку просто разорвало бы. Теоретически это совершенно очевидно. Однако это было проверено и на практике. И результаты Кипрского эксперимента выглядели достаточно убедительно.

— А в чем заключался ваш Кипрский эксперимент? — спросил Дикарь.

Мустафа Монд улыбнулся.

— Это можно было бы назвать опытом перебутылирования. Кипрский эксперимент был предпринят в 473 году. Правители распорядились выселить с Кипра всех тамошних жителей и заселить остров специально отобранными альфами, которых насчитывалось двадцать две тысячи. В их распоряжение было предоставлено все необходимое сельскохозяйственное и промышленное оборудование, и они остались на острове, где были вольны делать все, что им заблагорассудится. Результаты эксперимента точно совпали со всеми теоретическими прогнозами. Земля обрабатывалась из рук вон плохо. Заводы и фабрики то и дело не работали из-за забастовок. Законы все время нарушались, а распоряжения вышестоящих начальников под-

чиненными не исполнялись. Все, кому было вменено в обязанность делать малоквалифицированную, неинтересную работу, постоянно склочничали, интриговали, подкапывались друг под друга, потому что каждый хотел не мытьем, так катаньем получить работу почище да пост повыше. А люди, которые занимали более привилегированное положение и занимались квалифицированной, интересной работой, тоже склочничали и интриговали, чтобы любой ценой сохранить свои должности и теплые местечки. Через шесть лет после начала эксперимента на Кипре разразилась гражданская война между классами. После того как из двадцати двух тысяч жителей острова девятнадцать тысяч погибло, оставшиеся в живых единодушно обратились к Верховному Совету Правителей Мира с просьбой снова взять в свои руки власть над Кипром. Что и было сделано. Так закончилась история единственного государства альф, какое только существовало на земле.

Дикарь тяжело вздохнул

— Оптимальная демографическая структура, — сказал Мустафа Монд, — должна напоминать айсберг: восемь девятых населения находятся под водой, и лишь одна девятая на поверхности.

— Ну, и как, счастливы ли они там, под водой?

— Они там гораздо счастливее, чем те, кто над водой. Куда счастливее, например, чем вот эти ваши друзья, — Правитель указал на Гельмгольца и Бернарда.

— Счастливы, невзирая на то, что там, под водой, они вынуждены заниматься столь низменной, столь презренной работой?

— Низменной? Да ведь они вовсе не считают свою работу низменной. Напротив, она им нравится. Она — легкая, с ней может справиться любой ребенок. Не приходится думать, не приходится напрягать мускулы. Семь часов простого, неутомительного труда, а после этого — соматический отдых, веселые игры, неограниченное совокупление и вдоволь чувствилищ. Чего им еще желать? Правда, они могли бы, например, захотеть, чтобы им сократили рабочий день. И, разумеется, это легко можно было бы сделать. Мы спокойно могли бы ввести для низших каст четырехчасовой или даже трехчасовой рабочий день. Но стали бы они от этого счастливее? Отнюдь нет. Примерно лет полтораста назад был поставлен интересный эксперимент. В Ирландии был законодательно установлен четырехчасовой рабочий день. Ну, и что получилось? Ничего хо-

рошего не получилось. По всей стране поднялось общественное брожение, резко увеличилось потребление сомы. Лишние три часа досуга вовсе не сделали человека счастливее — наоборот, он не знал, куда девать неожиданно свалившиеся на него свободные часы, и он стремился отдохнуть от них, уходя в соматическое забытье. Наше Бюро Изобретений просто завалено толковейшими рационализаторскими предложениями, как увеличить производительность труда с тем, чтобы сократить рабочую неделю трудящихся. Почему, по-вашему, мы не торопимся внедрять эти предложения? Да для блага самих же трудящихся. Было бы просто жестоко дать им лишние два-три часа свободного времени. То же самое относится и к сельскохозяйственному труду. Захоти мы только, мы могли бы все продукты питания — все до одного — получать синтетическим путем. Но мы этого не делаем. Вместо этого мы предпочитаем добрую треть населения держать на обработке земли. Ради чего? Ради самих же земледельцев: ибо для того, чтобы вырастить продукты питания на земле, нужно больше времени, чем для того, чтобы синтезировать их на фабрике. А кроме того, нам нужно еще думать и об общественной устойчивости. Мы не желаем перемен. Любая

перемена — это угроза общественной устойчивости. Вот почему мы так осмотрительны и осторожны при внедрении новых изобретений и открытий. Каждое открытие в сфере чистой науки таит некую опасность подрыва и ослабления существующего общественного порядка. Даже науку следует иногда рассматривать как потенциальную угрозу. Да, даже науку!

Науку? Дикарь нахмурился. Это слово он знал. Но что именно оно означает, он не мог бы сказать. Шекспир и старцы из пуэбло никогда не упоминали о науке, и даже из слов Линды он мог составить себе о науке лишь самое смутное представление: наука — это нечто, помогающее изготовлять вертолеты, нечто, вызывающее смех на Празднике Урожая, нечто, предотвращающее появление морщин на лице и выпадение зубов. Дикарь отчаянно пытался понять, что имеет в виду Правитель.

— Да, — продолжал Мустафа Монд, — это другая жертва, которую мы приносим ради общественной устойчивости. Не только искусство несовместимо с полным счастьем, но и наука тоже. Наука может быть крайне опасна; чтобы она не стала разрушительной силой, нужно сковать ее цепями и зажать ей рот.

— Что? — в изумлении воскликнул Гельмгольц. — Но ведь нам сызмальства внушают, что наука — это все. Так гласит гипнопедическая аксиома!

— Три раза в неделю с тринадцати до семнадцати лет, — вставил Бернард.

— А как же пропаганда науки в колледже? Разве нас не учат преклоняться перед наукой?

— Все это так; но о какой науке идет речь? — саркастически спросил Мустафа Монд. — Вы не изучали точных наук, мистер Уотсон, так что едва ли вы можете быть тут судьей. А я когда-то был довольно толковым физиком. Пожалуй, даже слишком толковым — или, во всяком случае, достаточно толковым для того, чтобы понять, что вся наша наука — это всего-навсего поваренная книга, где изложена предустановленная поварская теория, которую запрещено оспаривать, и где содержится список дозволенных рецептов, к которым ничего не полагается добавлять без специального разрешения шеф-повара. Теперь шеф-повар — это я. А в те годы я был всего лишь дотошным юнцом-поваренком. Я пытался кое- что стряпать сам — кое-что, чего не было в поваренной книге и что не входило в список дозволенных рецептов. То есть, я пытался делать настоящую науку...

Правитель замолчал.

— Ну, и что случилось? — спросил Гельмгольц.

Правитель вздохнул.

— Почти то, что вскоре случится с вами, молодые люди. Меня чуть не сослали на острова.

Эти слова словно сильным электрическим разрядом ударили Бернарда, возбудив в нем бешеный припадок неуместной здесь деятельности.

— Сослать меня на острова? — крикнул он, вскакивая с места, и, в два прыжка пересекши комнату, стал исступленно размахивать руками перед носом у Правителя. — Вы не можете сослать меня! Я ничего дурного не сделал! Это все они, они! Клянусь — это они! — он обвиняющим жестом указал на Гельмгольца и Дикаря. — О, пожалуйста, Ваше Фордство, прошу вас, не ссылайте меня в Исландию! Клянусь вам, я исправлюсь! Я сделаю все, что мне прикажут! Дайте мне возможность исправиться! Умоляю вас, дайте мне возможность исправиться! — он начал всхлипывать, по щекам у него потекли слезы. — Уверяю вас, это они, они во всем виноваты! Только не в Исландию! О, прошу вас, Ваше Фордство, пожалуйста...

И в пароксизме самоуничижения он упал на

колени перед Правителем. Мустафа Монд попытался его поднять, но Бернард ползал у его ног по полу и нипочем не хотел вставать, и изо рта у него вырывался поток бессвязных слов, смешанных с рыданиями. В конце концов, Правителю пришлось позвонить и вызвать своего Четвертого Секретаря.

— Позовите трех охранников, — приказал он, — и уведите мистера Маркса в ванную. Вапоризируйте его сомой, уложите в постель, и пусть он отдохнет.

Четвертый Секретарь удалился и тут же вернулся с тремя близнецами-охранниками, одетыми в зеленую униформу. Они схватили все еще воющего и упирающегося Бернарда под мышки и уволокли прочь.

— Можно подумать, что ему собираются перерезать глотку, — сказал Правитель, когда закрылась дверь. — Будь у него в голове хоть чуть-чуть соображения, он бы понял, что наказание, которое его ждет, будет для него не столько карой, сколько благодеянием. Он будет сослан на острова. Иными словами, он будет сослан туда, где он встретит общество самых интересных, самых умных мужчин и женщин, какие только живут на земле. Встретит людей, которые

по той или иной причине оказались слишком самобытными, слишком развитыми, слишком талантливыми личностями, чтобы спокойно вписываться в жизнь бездумного, стандартизированного общества. Встретит людей, которых не удовлетворяют общепринятые нормы и обычаи, людей, которые умеют самостоятельно мыслить. Короче говоря, встретит тех немногих людей на земле, которые действительно настоящие Люди. Я почти завидую вам, мистер Уотсон.

Гельмгольц засмеялся.

— Так почему же вы сами не на островах?

— Потому что по зрелом размышлении я в конце концов предпочел вот это , — ответил Правитель. — Мне был предоставлен выбор: отправиться на острова, где я мог бы продолжать заниматься своей чистой наукой, или войти в Консультативный Комитет Советников Правителя с перспективой когда-нибудь, возможно, самому стать одним из Правителей. Я выбрал второй путь и пожертвовал своей наукой. — Мустафа Монд помолчал. — Иногда, — добавил он, — я жалею о том, что бросил науку. Я служу счастью. Но счастье — суровый властелин, особенно счастье других. Если подчиняться ему беспрекословно, то это куда более суровый властелин, чем истина.

Мустафа Монд вздохнул, снова помолчал, а потом продолжал более веселым тоном:

— Однако же, долг есть долг. Мы не имеем права подчиняться своим личным пристрастиям. Я хочу знать истину. Я люблю науку. Но в истине таится угроза, а наука опасна для общества. Столь же опасна, сколь и полезна. Да, она помогла нам создать самое устойчивое общество, какое только существовало в истории. По сравнению с нашим обществом древний Китай был безнадежно беспокойным государством; даже матриархат доисторических времен не обеспечивал людям такого спокойствия и такой уверенности в завтрашнем дне, какие обеспечивает современный мир. И все это, повторяю, благодаря науке. Но мы не хотим, чтобы наука сама же уничтожила ту пользу, которую она принесла человечеству. Вот почему мы так тщательно ограничиваем сферы научных исследований — и вот почему я чуть было не отправился в ссылку на острова. Мы не можем допустить, чтобы наука занималась чем-нибудь, помимо самых неотложных практических проблем сегодняшнего дня. Все остальные исследования мы пресекаем в корне. Любопытно в наши дни ознакомиться с тем, что писали люди о научном прогрессе в эпоху Нашего Форда. Они,

кажется, воображали, что научный прогресс будет продолжаться бесконечно и безгранично, а там хоть весь мир гори огнем. Они считали, что знание — это величайшее благо, а истина — это высший критерий; все же остальное вторично и подчинено знанию и истине. Правда, уже тогда начали появляться новые идеи. Сам же Наш Форд немало сделал для того, чтобы переместить основной упор с истины и красоты на удобство и счастье. Такой перемены требовало массовое производство. Всеобщее счастье вращает колеса общественного механизма неустанно и равномерно; а истина и красота этого делать не способны. И, разумеется, где бы и когда бы ни случалось так, что политическую власть захватывали широкие массы, всегда на первый план вместо истины и красоты выдвигалось счастье и довольство. И все-таки, несмотря ни на что, в эпоху Нашего Форда разрешалось и даже поощрялось совершенно неограниченное проведение научных исследований буквально во всех областях. Люди продолжали болтать об истине и красоте, как будто истина и красота — это высшие блага человечества. Так продолжалось вплоть до Девятилетней Войны. Но Война заставила людей задуматься и пересмотреть свои взгляды.

Какой прок в красоте и истине, когда вокруг тебя взрываются антраксовые бомбы? Вот тогда-то, после Девятилетней Войны, науку впервые стали ограничивать. Люди готовы были пожертвовать даже своими самыми излюбленными привычками и пристрастиями. Все, что угодно, только бы жить спокойно! С тех пор над наукой, как и над многими другими сферами жизни, был установлен строгий контроль. Конечно, это шло во вред истине. Но зато на пользу всеобщему счастью. За счастье надо платить. И вам тоже придется платить за него, мистер Уотсон, платить, потому что вас слишком интересует красота. А меня когда-то слишком интересовала истина; и я тоже за это заплатил.

— Но ведь в ы не отправились на острова, — сказал Дикарь, нарушив свое долгое молчание.

Правитель улыбнулся.

— Я заплатил иначе. Я заплатил тем, что предпочел служить счастью. Не своему личному счастью, а счастью других. И за это я имею право страдать.

Правитель помолчал, а потом заговорил снова.

— Нам повезло, что в мире столько островов. Не знаю, как бы мы без них обходились. Наверно, нам пришлось бы казнить вас в газовой камере.

Кстати, мистер Уотсон, вам нравится тропический климат? Может быть, вы хотели бы жить на Маркизских островах? Или на Самоа? А то и в каких- нибудь еще более благодатных местах?

Гельмгольц поднялся со своего пневматического кресла.

— Я предпочел бы как можно более суровый климат, — ответил он. — Мне кажется, в скверном климате легче писать. Я хотел бы, чтобы там, где мне придется жить, почаще бушевали бури, выли ветры и лили дожди...

Правитель одобрительно кивнул.

— Что ж, мне нравятся ваши настроения, мистер Уотсон. Правда, очень нравятся. В той же мере, в какой я их официально не одобряю. — Он улыбнулся. — Как насчет Фолклендских островов?

— Да, я думаю, это как раз то, что мне нужно, — ответил Гельмгольц. — А теперь, если вы не возражаете, я пойду и проведаю беднягу Бернарда.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— Искусство, наука! Мне сдается, вы за свое счастье заплатили непомерно дорогую цену, — сказал Дикарь, оставшись наедине с Правителем.

— А чем еще вы пожертвовали?

— Чем еще? Религией, конечно, — ответил Правитель. — В древности люди поклонялись так называемому Богу... Впрочем, я, кажется, забыл, с кем разговариваю: уж вы-то, наверно, отлично знаете, что такое Бог.

— Видите ли... — начал Дикарь и осекся.

Ему хотелось бы рассказать об одиночестве, о полуночном мраке, о столовой горе, которая белая-белая вытянулась под луной, о крутом откосе, о спуске в черную-черную тьму, о смерти... Он хотел бы рассказать — но не мог найти слов. Даже у Шекспира.

Тем временем Правитель прошел через комнату к противоположной стене и открыл там сейф, искусно спрятанный между книжными стеллажами. Тяжелая железная дверь распахнулась, и Правитель сунул руку в темный зев сейфа.

— Меня всегда интересовала проблема Бога, — сказал он и вынул из темноты толстый черный том. — Вот этой книги, например, вы, по всей вероятности, никогда не читали.

Дикарь взял книгу.

— "БИБЛИЯ. КНИГИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА", — прочел он на титульном листе.

— И этой тоже.

Правитель вынул другую книгу — маленькую, порядком растрепанную, без переплета.

— "ПОДРАЖАНИЕ ХРИСТУ".

— И этой.

Правитель дал Дикарю еще одну книгу.

— УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС. "РАЗНОВИДНОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА".

— У меня еще много чего есть, — сказал Мустафа Монд, снова опускаясь в кресло. — Богатейшая коллекция древних порнографических изданий. Бог в сейфе и Форд на полках.

И Правитель со смешком обвел рукой свою ортодоксальную библиотеку — стеллажи с книгами и секции с бобинами и кассетами.

— Но если вы познали Бога, почему же вы не возвестите об этом людям? — негодующе спросил Дикарь. — Почему вы не дадите им прочесть эти книги о Боге?

— По той же причине, по которой я не даю им читать Шекспира: это книги о прошлом, это книги о Боге, который существовал много столетий тому назад, а не о Боге наших дней.

— Но Бог вечен, он остается все тем же...

— Зато люди становятся иными.

— Ну, и что? Что от этого меняется?

— От этого меняется все.

Мустафа Монд встал и снова подошел к сейфу.

— Жил когда-то человек, которого звали кардинал Ньюмен,

— сказал Правитель. — Кардинал, — объяснил он, — был в те годы чем-то вроде нашего Архифордослужителя...

— Да, я знаю. "И я, Пандольфо, кардинал Миланский...". Я встречал этот титул у Шекспира.

— Да, разумеется. Ну так вот, как я говорил, был такой кардинал Ньюмен... А, кстати, вот еще одна книга! Пока что я покажу вам и ее. Ее написал человек по имени Мен де Биран. Он был философ, если вы знаете, что это означает...

— Это человек, который мечтает не обо всем, что есть на небе и на земле, — не задумываясь, сказал Дикарь.

— Вот именно. А теперь послушайте, о чем он все-таки мечтал в какой-то момент своей жизни.

Мустафа Монд открыл книгу, нашел в ней место, заложенное полоской бумаги, и начал читать:

— "Мы принадлежим себе не в большей степени, нежели нам принадлежит то, что мы считаем своею собственностью. Мы не сотворили сами себя, и мы не в силах вознестись выше самих себя.

Мы не властвуем над собою. Мы принадлежим Господу. Но разве не великое счастье наше в том, что мы мыслим себя такими? Разве обретаем мы счастье и покой, если мним, будто мы все-таки принадлежим самим себе. Так может казаться лишь юным и преуспевающим. Им чудится, будто бы счастье жизни состоит в том, чтобы все делалось по их воле и по их разумению, — в том, чтобы ни от кого не зависеть, — в том, чтобы не помышлять ни о чем, чего невозможно достичь, — в том, чтобы избегать досадной необходимости постоянно искать чужого одобрения, постоянно вторить чужим молитвам, постоянно оправдывать свои деяния тем, что они совершаются по чужому произволению. Однако с течением времени эти пылкие юноши, как и все люди, прозревают и постигают наконец, что истинная независимость недостижима для смертных, что она противна природе, что она есть лишь иллюзия, которая дозволяет тешиться собою до поры, но не может помочь смертному благополучно достичь конца земного пути".

Мустафа Монд сделал паузу, положил книгу, взял другую и перелистал страницы.

— Возьмите хоть вот это, — сказал он и снова стал читать своим глубоким, звучным голосом.

— "Человек стареет; он ощущает в себе, что приближение старости несет с собою слабость, вялость, безразличие и немощь; и, ощущая все это, человек начинает полагать, что он всего-навсего занемог, и он смиряет свои тайные страхи, тщась уверить себя, будто его хворь вызвана какой-то определенной причиной и от нее, как от любого недуга, можно излечиться. Напрасные упования! Эта хворь — сама старость, и нет от нее исцеления. Говорят, что обращаться в преклонные годы к вере человека побуждает допреж всего страх перед близкою кончиной, равно как и перед тем, что будет после кончины. Но мой опыт убеждает меня, что и без всех этих страхов и предощущений религиозное рвение все равно с годами укрепляется в нас — укрепляется потому, что по мере того, как в нас утихают юношеские страсти и стынет кровь, разум наш менее возбуждается и воспаляется, менее поддается желаниям и порывам, коим он поддавался в юные годы, мы постигаем неразумие суеты мирской, и Господь вдруг является нам во всем блеске своем, словно из облаков; и душа наша ощущает, видит этот дивный блеск, обращается и тянется к нему неумолимо и неотвратимо; ибо ныне, когда мы обрели успокоение телесное и душевное, когда

померкло для нас все, некогда придававшее жизни мирской приятность и очарование, — ныне, когда новому, высшему существованию более не препятствуют отвлечения, исходившие извне и рождавшиеся внутри нас, — ныне мы ощущаем в себе жажду вверить судьбу свою чему-то, что непоколебимо и нерушимо, чему-то, что не введет нас в обман, — вверить себя истинной сущности, конечной и вечной истине. Да, и мы неминуемо обращаемся за утешением к Богу; ибо религиозное ощущение столь чисто по природе своей, столь благостно для познавшей его души, что оно восполняет для нас все то, чего мы в старости лишились". Так писал древний мыслитель. Ну, а мы, в нашем современном мире, наслаждаемся юностью и преуспеванием до самого конца наших дней. Что из этого следует? Из этого следует, что теперь нам уже не нужен Бог. "Религиозное ощущениевосполняет для нас все то, чего мы в старости лишились". Но теперь, в нашу эпоху, мы в старости ничего не лишаемся — и, значит, нам нечего восполнять. И потому у нас нет необходимости в религии. Зачем нам заменители юношеских страстей, если эти страсти никогда в нас не утихают? Зачем нам заменители желаний и порывов, если мы удовлетворяем свои

желания и следуем своим порывам до последнего дня? Зачем нам успокоение телесное и душевное, если наше тело и наш мозг постоянно наслаждаются активной деятельностью? Зачем нам обращаться за утешением к Богу, если у нас есть сома? И зачем нам искать чего- то, что неколебимо и нерушимо, когда мы живем при нерушимо устойчивом общественном порядке?

— Значит, по-вашему, Бога не существует?

— Нет, по-моему, очень даже не исключено, что Бог существует.

— Так почему же?..

— Однако он проявляет себя разным людям по-размому. В досовременную эпоху он проявлял себя так, как описано вот в этих книгах. Теперь же...

— Как он проявляет себя теперь?

— Он проявляет себя как отсутствие Бога — как будто его и вовсе нет.

— В этом ваша вина!

— Скажите лучше: вина Цивилизации. Бог несовместим с высокоразвитой техникой, почти всемогущей медициной и всеобщим счастьем. Приходится делать выбор. Наша Цивилизация выбрала технику, медицину и счастье. Вот почему мне приходится хранить эти книги в запертом

сейфе. Они опасны. Люди пришли бы в ужас, если бы...

— Но разве для человека не естественно ощущать Бога? — прервал Дикарь.

— Вы с таким же правом могли бы спросить, естественно ли для человека носить брюки на молниях, — саркастически заметил Правитель. — Вы напоминаете мне другого древнего философа, по имени Бредли. Он сказал, что философия — это поиски неубедительных объяснений того, во что человек верит инстинктивно. Если человек во что- то верит, то только потому, что его с детства приучили в это верить. Поиски неубедительных объяснений того, во что люди верят, исходя из других неубедительных объяснений, — это и есть философия. Люди верят в Бога, потому что им внушили эту веру, только и всего.

— И все-таки, — возразил Дикарь, — вера в Бога столь присуща человеку, особенно когда он остается в одиночестве, в совершеннейшем одиночестве, в ночи, и размышляет о смерти...

— Но люди теперь никогда не остаются в одиночестве, — сказал Мустафа Монд. — Мы приучили их ненавидеть одиночество. И мы организуем их жизнь таким образом, что им почти невозможно сколько-нибудь надолго оставаться в

одиночестве.

Дикарь мрачно кивнул. В Мальпаисе он страдал оттого, что его отлучали от других, не давали ему участвовать в трудах и забавах жителей пуэбло; а в цивилизованном Лондоне он страдал оттого, что никак не мог избежать участия в тех трудах и забавах, которым предавалось общество, не мог надолго оставаться один.

— Вы помните "Короля Лира"? — спросил Дикарь. — Я имею в виду слова Эдгара из последней сцены:

О, боги правы: делают они
Наш сладкий грех орудьем нашей кары.
Греховная постель, где наш отец
Тебя зачал, ему отлилась тем,
Что он лишился глаз.

И Эдмонд ему отвечает — вы помните, он тяжко ранен, он при смерти:

Да, это так.
Замкнулся круг: я здесь, и я повержен.

Ну, что вы об этом скажете? Не сдается ли вам, что Бог все еще вершит делами мирскими, карает и воздает?

— Вы так думаете? — вопросом на вопрос ответил Правитель. — Но в нашу эпоху вы можете сколько угодно предаваться всем сладким грехам

без всякого риска, что любовница вашего сына когда-нибудь вырвет вам глаза. "Замкнулся круг: я здесь, и я повержен". Но что бы делал в наши дни этот самый Эдмонд? В наши дни он сидел бы в пневматическом кресле, одной рукой обнимая за талию девушку, а другой взявшись за набалдашник на подлокотнике, и жевал бы себе спокойно резинку с половыми гормонами да смотрел бы чувствилище. Да, боги правы. Именно так. Но их свод законов им в конечном счете диктуют люди — те люди, которые управляют обществом. Творя свой суд, Провидение прислушивается к указаниям людей.

— Вы уверены? — спросил Дикарь. — Вы вполне уверены, что Эдмонд, сидящий ныне в пневматическом кресле, несет не такую же суровую кару, какую понес когда-то Эдмонд, смертельно раненный и истекающий кровью? Да, боги правы! Разве они не превратили его сладкие грехи в орудие его вырождения?

— Вырождения? До какого же состояния он, по-вашему, выродился? В чем вы усматриваете его вырождение? Он примерный гражданин: счастливый, работящий, потребляющий товары массового производства. Конечно, если судить его по меркам не нашего общества, а какого-нибудь

другого, то, может быть, отчасти правомерно было бы утверждать, что он выродился. Но если вы судите о каком-нибудь явлении, вы должны пользоваться системой ценностей, соотносимых с этим явлением. Нельзя играть в Электромагнитный Гольф по правилам Шмеля-Центрифуги.

— Но ценности отнюдь не утверждаются чьей-то державной волей, — возразил Дикарь. — Ценности вечны. Они сохраняют свое достоинство тем, что они неизменно высоки сами по себе, — тем, что над ними не властны ни люди, ни время.

— Ну, ну, что вы! — воскликнул Мустафа Монд. — Тут уж вы, пожалуй, чересчур загнули.

— Если бы вы дозволили себе помышлять о Боге, вы бы не дозволили сладким грехам развратить вас и довести до вырождения. У вас появилась бы осмысленная причина терпеливо сносить превратности судьбы и действовать отважно, по велению своей совести. Я не раз видел такое у индейцев.

— Да, конечно, у них вы это видели, — сказал Мустафа Монд. - Но ведь м ы - т о не индейцы. В наше время никаких превратностей судьбы цивилизованному человеку сносить не приходится. Что же до действий по велению совести, то не дай

Форд, чтобы ему взбрели в голову подобные мысли! Да ведь если бы люди стали действовать по собственному усмотрению, весь наш общественный порядок полетел бы вверх тормашками!

— А как же самоограничение? Будь у вас Бог, у вас была бы и причина для самоограничения.

— Но промышленная цивилизация возможна лишь при условии отмены всякого самоограничения. Каждый может и должен потворствовать своим желаниям и поддаваться любым искушениям — разумеется, в пределах, установленных гигиеной и экономикой. В противном случае колеса общественного механизма перестанут вращаться.

— Но должна же быть причина для соблюдения целомудрия,— сказал Дикарь, слегка краснея.

— Целомудрие означает страсть, целомудрие означает неврастению. Но страсть и неврастения означают неустойчивость. А неустойчивость означает гибель Цивилизации. Невозможно создать прочную, долговечную Цивилизацию без того, чтобы люди могли предаваться множеству сладких грехов.

— Но Бог есть источник всего, что есть благородного, прекрасного и героического. Будь у вас Бог...

— Мой юный друг, — сказал Мустафа Монд, — цивилизованное общество совершенно не нуждается ни в благородстве, ни в героизме. Все это — лишь симптомы политической незрелости. В правильно организованном обществе, таком, как наше, ни у кого нет ни малейших возможностей проявлять благородство или героизм. Для того чтобы возникли условия для этого, нужна общественная неустойчивость, нужны трудности и беды. Там, где бушуют войны, там, где сталкиваются противоборствующие интересы, там, где людям приходится противиться искушениям, защищать то, что им дорого, и сражаться против того, что им ненавистно, — там, разумеется, есть какая-то нужда в благородстве и героизме. Но в наши дни не ведется никаких войн. Предпринимается все возможное, чтобы кто-нибудь в кого- нибудь невзначай не влюбился. Нет никаких противоборствующих интересов. Человек с младенчества воспитывается таким образом, что он попросту не может не делать того, что ему положено делать. А то, что ему положено делать, доставляет ему такое удовольствие, и все его естественные желания так легко и быстро выполняются, что, по сути дела, не существует никаких искушений, которым ему нужно было бы про-

тивиться. А если все-таки вдруг, по несчастной случайности, у человека и случится какая-нибудь неприятность, то у него под рукой постоянно есть сома, которая поможет ему уйти от досадной действительности в мир восхитительных грез. Сома всегда смягчит ваш гнев, примирит вас с вашими врагами, поможет вам перенести тяготы и забыть обо всех заботах. В прошлом для этого вам приходилось прилагать большие душевные усилия, и такое достигалось лишь после многих лет нравственных упражнений. А теперь вы проглатываете два-три кубика сомы — и делу конец. В наши дни каждый может быть добродетельным. Христианство без рыданий — вот что такое сома.

— Но рыдания необходимы. Помните, что сказал Отелло?

Будь после каждой бури штиль такой.

Так пусть ветра хоть смерть разбудят ревом!

Помнится, один старый индеец поведал мне поучительную легенду о девушке из Матсаки. К ней сваталось несколько юношей, и она уготовила им искус: "Тот, кто хочет взять меня в жены, — сказала она, — должен с восхода до полудня вскапывать мой огород". Казалось бы, чего проще! Но в огороде у этой девушки роились тучи мух и москитов — заколдованных мух и москитов. Они

жалили, и они кусали, и большинство юношей не смогло этого вынести. А один вынес— и он-то и взял в жены девушку из Матсаки.

— Очаровательная легенда! — воскликнул Мустафа Монд. — Но в цивилизованном обществе вы можете получить девушку, не занимаясь вскапыванием огородов. И вас не будут кусать ни мухи, ни москиты — даже не заколдованные. Мы уже несколько столетий как начисто истребили всех мух, комаров и прочих зловредных насекомых.

Дикарь угрюмо кивнул.

— Да, вы их истребили. И это столь похоже на вас! Вы уничтожаете все, что вам досаждает, вместо того чтобы научиться примиряться с этим.

Достойней ли покорно грудь подставить
Под луки и пращи судьбы враждебной —
Иль, меч подняв, восстать на море бедствий
И их в противоборстве одолеть?

Но вы не делаете ни того, ни другого. Вы не покоряетесь и не противоборствуете. Вы просто уничтожаете пращи и луки. Это слишком просто...

Неожиданно Дикарь осекся и замолчал: он вспомнил о своей матери. Вспомнил, как, лежа у себя в комнате на тридцать седьмом этаже, Линда

плавала в океане поющих отсветов и душистых ласк — плавала вне времени и вне пространства, вырвавшись из темницы своих воспоминаний, своих привычек, своего преждевременно одряхлевшего и разбухшего тела. А Томас, бывший Директор ИЧП, все еще был в отпуске — отдыхал от унижения и от боли, отдыхал в мире, где он не мог слышать обидных слов и презрительного смеха, не мог видеть отвратительного лица Линды, не мог ощущать ее влажных, дряблых рук, обвивших его шею, в прекрасном мире...

— Что вам нужно, — сказал Дикарь, — так это немного рыданий, для разнообразия. У вас тут нет ничего, что обходилось бы достаточно дорого.

("Двенадцать с половиной миллионов долларов, — возразил когда-то Генри Фостер, когда Дикарь бросил ему то же самое обвинение. — Двенадцать с половиной миллионов — вот во сколько обошлось нам строительство нового Питомника".)

— А вспомните вот это:

Плоть смертную и бренную свою
Подвергнуть всем опасностям и бедам,
Которыми грозят судьба и смерть;
И все — хоть ради скорлупы яичной...

Не кажется ли вам, что в этом что-то есть? —

спросил Дикарь, глядя в глаза Мустафе Монду. — Даже не говоря о Боге... Хотя, бесспорно, и здесь причиной тоже Бог. Но ведь воистину в этом что-то есть — в том, чтобы жить, подвергаясь опасностям!

— Да, безусловно, в этом есть очень многое, — ответил Мустафа Монд. — Все мужчины и женщины нуждаются в периодической стимуляции надпочечных желез.

— Что? — недоумевающе спросил Дикарь.

— Это один из необходимейших факторов, обусловливающих безупречное состояние здоровья человека. Вот почему все наши граждане в обязательном порядке регулярно проходят терапевтический курс СНС.

— СНС?

— Да; это значит "Суррогат Неистовых Страстей". Регулярно, раз в месяц. СНС — это стопроцентный физиологический эквивалент страха и ярости. Все тонические эффекты удушения Дездемоны и гибели от рук Отелло без каких бы то ни было волнений и переживаний, связанных с этим актом.

— Но мне по душе волнения и переживания!

— А нам нет, — сказал Правитель. — Мы предпочитаем спокойствие и удобства.

— Но мне не нужно удобств! Мне нужен Бог, мне нужна поэзия, мне нужна опасность, мне нужна свобода, мне нужна добродетель, мне нужен грех.

— Иными словами, — сказал Мустафа Монд, — вы требуете для себя права быть несчастным.

— Ну, что ж, пусть так! — вызывающе воскликнул Дикарь. — Я требую для себя права быть несчастным.

— И это включает ваше право быть старым, уродливым и немощным. Право болеть сифилисом и раком. Право не иметь хлеба насущного. Право жить в постоянном страхе

перед завтрашним днем. Право заразиться тифом. Право страдать и мучиться от невыносимой боли.

Последовало долгое молчание.

— Я требую для себя всех этих прав! — сказал наконец Дикарь.

Мустафа Монд пожал плечами.

— Ну, что ж, ваша воля, — ответил он.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Дверь была незаперта. Они вошли.

— Джон!

Из ванной послышался характерный непри-

ятный звук.

— В чем дело? — крикнул Гельмгольц.

Ответа не последовало. Неприятный звук повторился еще два раза, потом все умолкло. Через минуту дверь ванной отворилась, и в комнату вошел Дикарь. Он был бледен, как простыня.

— Что с тобой? — озабоченно воскликнул Гельмгольц. — У тебя такой вид, что краше в крематорий везут. Ты, часом, не заболел?

— Может быть, ты отравился? Съел что-нибудь недоброкачественное? — спросил Бернард.

Дикарь кивнул.

— Да, я отравился.

— Что?

— Я отравился Цивилизацией. Она стоит у меня поперек горла. И еще, — Дикарь понизил голос, — я съел свою собственную греховность.

— Да, но что ты имеешь в виду?.. То есть, ты ведь только что...

— Теперь я очищен, — сказал Дикарь. — Я выпил раствор горчицы в теплой воде.

Бернард и Гельмгольц посмотрели на него с изумлением.

— Так всегда очищают себя индейцы.

Дикарь сел и, вздохнув, вытер рукой лоб.

— Мне надобно несколько минут отдохнуть,

— сказал он. — Я изнемог.

— Не удивительно, — отозвался Гельмгольц.

Они помолчали, а потом Гельмгольц сообщил уже совсем другим тоном:

— Завтра утром мы улетаем.

— Да, завтра утром, — повторил Бернард, и в его лице Дикарь уловил новое для Бернарда выражение нарочитой отрешенности. — И кстати, Джон, — добавил он, наклонившись и положив руку на колено Дикарю, — я хотел бы тебе сказать, как я сожалею о том, что произошло вчера.

Он густо покраснел.

— О, как мне стыдно! — произнес он нетвердым голосом. — Мне вправду очень...

Дикарь прервал его покаяние, взяв его руку и с чувством пожал ее.

— Гельмгольц был ко мне так добр, так внимателен, — сказал Бернард. — Если бы не он, я бы...

— Ну, ну, не надо! — мягко прервал его Гельмгольц.

Они снова замолчали. И, несмотря на свою грусть — а может быть, именно благодаря грусти, ибо грусть была выражением их привязанности друг к другу, — все трое почувствовали себя счастливыми.

— Я нынче утром еще раз побывал у Правителя,

— сказал наконец Дикарь.

— Зачем?

— Я просил его дозволить мне отправиться на острова вместе с вами.

— Ну, и что он сказал? — напряженно подавшись вперед, спросил Гельмгольц.

Дикарь покачал головой.

— Он не желает меня отпускать.

— Почему?

— Он сказал, что желает продолжать эксперимент. Но будь я проклят, — с неожиданной яростью воскликнул Дикарь, — будь я проклят, если я позволю над собою экспериментировать! Хотя бы этого желали все Правители во вселенной! Я тоже завтра удалюсь.

— Куда? — в один голос спросили Бернард и Гельмгольц.

Дикарь пожал плечами.

— Все равно. Не важно. Куда угодно, лишь бы быть в одиночестве.

Воздушная трасса из Лондона на юг шла сначала от Гилфорда на Годалминг, затем через Милфорд и Уитли, дальше на Хейзлмир и через Питерсфилд до Портсмута. Примерно параллельно ей проходила обратная трасса с юга на север. Когда-то она была проложена над Грейшотом,

Элстедом, Путтенхемом, Тонгемом и Уорплсденом. На участке между кряжем Свиная Спина и Хиндхедом, в округе Серри, обе трассы сближались настолько, что отстояли друг от друга всего на шесть-семь километров. Это было очень опасное место для неумелых и неосторожных водителей, особенно ночью или если водитель принимал на полграмма сомы больше, чем следовало. Там нередко случались аварии, порой очень серьезные. Поэтому недавно было решено отклонить трассу на несколько километров западнее. И теперь вертолеты немолчно жужжали уже над Селборном, Фарнхемом и Олдершотом. А между Грейшотом и Тонгемом высились четыре заброшенных, ветшающих маяка, стоявших там, где в былые времена, давным-давно, пролегала древняя автострада Лондон—Портсмут.

И вот один из этих маяков, стоявший на гребне холма между Путтенхемом и Элстедом, облюбовал себе Дикарь, искавший место, где бы устроить свое отшельническое убежище. Обследовав маяк и обнаружив, что здание все еще находится в отличном состоянии, Дикарь сперва счел его чересчур для себя роскошным. Но потом, по зрелом размышлении, он успокоил свою совесть тем, что дал себе клятву возместить избыток удобств сво-

ей новой обители суровой самодисциплиной и добавочным самоистязанием. Свою первую ночь в маяке Дикарь провел без сна. Долгие часы стоял он на коленях и молился: то молился на английском тому Богу, у которого некогда вымаливал прощение злодей Клавдий, то на языке зуни индейскому богу Авонавилоне, то Иисусу и Поконгу, то своему собственному пернатому хранителю — Орлу. Время от времени Дикарь раскидывал руки, словно распятый на кресте, и так, распростертый, застывал до тех пор, пока хватало сил терпеть; и, подвергая себя добровольному распятию, не отирая даже пота, струившегося по лицу и по телу, он шептал сквозь стиснутые зубы:

— О, отпусти мне грех! О, очисть меня! О, помоги мне обрести добро!

И повторял эти слова снова, и снова, и снова, пока чуть не терял сознания от боли и усталости.

Когда настало утро, Дикарь решил, что он теперь обрел моральное право вселиться в здание маяка, — да, вселиться, невзирая на то, что в большинстве окон все еще были целы стекла и что с верхушки маяка открывался такой живописный вид. Ибо та самая причина, которая побудила Дикаря выбрать именно этот маяк, немедленно обернулась причиной, побудившей Дикаря

начать искать какое-нибудь другое жилище. Поначалу он решил здесь обосноваться именно потому, что с маяка открывался живописный вид: глядя с вышки, Дикарь словно созерцал олицетворение Божественного существа. Но кто он такой был, чтобы час за часом, день за днем взирать на столь совершенное творение Господне? Кто он такой был, чтобы жить в столь зримом приближении к Богу? Единственно, где он достоин был обитать, так разве что в каком-нибудь грязном, зловонном стойле или в слепой пещере, вырытой в черной земле. После бессонной ночи, проведенной в самоистязаниях, у Дикаря еще болели все члены, но именно это внушило ему внутреннюю уверенность, и он, превозмогая боль в суставах, взобрался на вышку маяка и в лучах пробуждающегося рассвета обозрел дивную красу земли, в которой он заслужил право отныне жить. К северу обзор ограничивал кряж меловых хребтов Свиной Спины, позади которых, в их восточной части, торчали к небу башни семи небоскребов города Гилфорда; увидев их, Дикарь скорчил было гримасу, но потом подумал, что ничего, со временем он к этому привыкнет. (И действительно, так и случилось, ибо по ночам гилфордские башни весело сверкали

геометрически правильными созвездиями огней и указывали своими пылающими пальцами на непостижимое таинство небес — значимость этого жеста никто в Англии, кроме Дикаря, ныне не способен был понять.)

В долине, отделявшей Свиную Спину от песчаного холма, на котором стоял маяк, ютилась крошечная деревушка Путтенхем с домами всего в девять этажей; в деревушке находились силосный резервуар, птицеферма и небольшая фабрика по производству витамина "Д". По другую сторону от маяка — к югу — тянулись вересковые пустоши, покрытые цепочками прудов. А еще дальше, над полосой лесонасаждений, поднимались четырнадцатиэтажные башни Элсте- да. В романтической голубой дымке расплывались вдали очертания Хиндхеда и Селборна.

Но главное, что нужно было здесь Дикарю, — это не живописный вид, а одиночество. Целыми днями не видел он ни одного человеческого существа. Маяк, в котором Дикарь обосновался, был всего в пятнадцати минутах полета от башни "Черинг-Т"; но даже холмы вокруг Мальпаиса были менее пустынными, чем эти серрейские пустоши. Толпы людей, ежедневно вылетавших из Лондона, покидали его лишь для того, чтобы играть в

Электромагнитный Гольф или в Теннис Римана. В Путтенхеме кортов не было, ближайшие находились в Гилфорде. Здесь, южнее Свиной Спины и вплоть до самого Элстеда, не было ничего, кроме цветов, и поэтому никто здесь не появлялся. Первые дни Дикарь жил в маяке в блаженном одиночестве, и никто ему не докучал .

Остатки денег, которые Дикарь когда-то, по приезде в Лондон, получил как новый иммигрант, почти все ушли на покупку разных необходимых вещей. Перед тем как покинуть Лондон, Дикарь купил себе четыре одеяла из вискозной шерсти, мотки веревок, гвозди, клей, кое-какие инструменты, спички (ибо он собирался разжигать костер), несколько кастрюль и сковородок, две дюжины мешков семян и десять килограммов белой муки ("Нет, нет, только не синтетического крахмала и не суррогата, пусть даже это и более питательно", — настаивал он в магазине; но, когда дошло до гландулярного печенья и витаминизированного суррогата говядины, Дикарь не устоял перед уговорами продавца). Теперь, глядя на эти дурацкие коробки, Дикарь укорял себя за слабость. Презренные безделушки Цивилизации! Он поклялся себе, что ни за что не станет есть этой гадости, даже если ему будет грозить голодная

смерть. "Ну, я их проучу!" — мстительно подумал он, забывая, что этим он проучит прежде всего самого себя.

Он пересчитал остатки своих денег. Этого должно было хватить до конца зимы. К весне его огород, как он уповал, уже начнет давать ему достаточно пищи, чтобы он мог не зависеть от внешнего мира. И, кроме того, вокруг было полно дичи. Повсюду, он видел, сновали кролики, а в прудах водилась водяная птица. Дикарь сразу же принялся мастерить лук и стрелы.

Через несколько дней после того, как Дикарь поселился в здании маяка, трое сельскохозяйственных рабочих — дельт- минус, принадлежащих к одной и той же бокановскифици- рованной группе, — ехали на грузовике из Лондона в Элстед. Они были совершенно поражены, когда за Путтенхемом увидели на вершине холма какого-то человека, который, голый по пояс, стоял у входа в заброшенный маяк и стегал себя хлыстом. Водитель грузовика притормозил, съехал на обочину и остановился, и трое дельт, разинув рты, стали смотреть на необыкновенное зрелище. Раз, два, три — они считали удары. После восьмого удара странный человек прервал самоистязание, подбежал к близлежащим кустам, и его стало рвать.

Отблевавшись, он вернулся назад к маяку, взял хлыст и снова стал наносить себе удары. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать...

— О Форд! — прошептал водитель грузовика.

— О Форд! — воскликнули рабочие.

Через три дня, как стервятники на падаль, налетели репортеры.

Лук уже был готов, и Дикарь трудился над стрелами. Незадолго до того он наведался на ближайшую птицеферму и запасся перьями. Он как раз оперял одну из своих стрел, когда перед ним предстал первый репортер.

— Доброе утро, мистер Дикарь, — поздоровался репортер,— Я представляю ежечасную газету "Аурли Таймс".

Дернувшись всем телом, словно его укусила змея, Дикарь вскочил на ноги.

— Прошу прощения, — крайне любезным тоном сказал репортер. — Я не хотел бы...

Он прикоснулся пальцем к шляпе — алюминиевой шляпе, в которой помещалась сложная электронная аппаратура.

— Простите, что я не снимаю шляпы, — сказал репортер,— Но она несколько тяжеловата. Да, так вот: как я уже сказал, я представляю ежечасную газету "Аурли Таймс".

— Что вам нужно? — неприязненно спросил Дикарь, на что репортер лучезарно улыбнулся.

— Разумеется, нашим читателям было бы крайне интересно узнать...

Репортер склонил голову набок, и его улыбка сделалась почти кокетливой.

— Только несколько слов, мистер Дикарь, только несколько слов!

И, не теряя времени, уверенными профессиональными движениями репортер вытащил два провода, подсоединенные к портативной батарее, спрятанной в пряжке брючного ремня, воткнул штекеры проводов в гнезда на полях шляпы, нажал какую-то кнопку на правой стороне тульи (из тульи мгновенно выскочила вверх антенна) и другую кнопку на левой стороне тульи (и тотчас же из шляпы выдвинулся микрофон, который повис, качаясь, в нескольких сантиметрах от носа репортера), вытянул из шляпы наушники; и Дикарь услышал сначала легкое жужжание, а потом что-то вроде икоты и покашливания.

— Алло! — сказал репортер в микрофон. — Алло, алло!

У него в шляпе неожиданно зазвенел звонок.

— Это ты, Этцель? — спросил репортер. — Говорит Примо Меллон... Да, я его нашел... Сейчас

мистер Дикарь возьмет микрофон и скажет несколько слов... Пожалуйста, мистер Дикарь.

Он поднял глаза на Дикаря и снова лучезарно ему улыбнулся.

— Просто расскажите слушателям нашей аудитории, почему вы сюда переселились. Почему вы неожиданно решили покинуть Лондон? И, конечно, для чего вы избиваете себя хлыстом?

Дикарь вздохнул. "Откуда им известно про хлыст?" — подумал он.

— Всем нашим слушателям крайне интересно узнать, зачем вам эти манипуляции с хлыстом, — продолжал репортер. — Ну, и, кроме того, мы бы хотели выслушать ваше мнение относительно Цивилизации. Понимаете, что-нибудь — может быть, осветите какой-то частный вопрос; например: "Что я думаю о цивилизованной девушке". Несколько слов, всего лишь несколько слов...

Дикарь выполнил просьбу репортера с обескураживающей буквальностью: он произнес ровно пять слов, и ни словом больше, — те самые пять слов, которые он когда-то сказал Бернарду об Архифордослужителе Кентерберийском:

— Хани! Соне эсо тсе-наа!

А затем он с силой схватил репортера за плечо, развернул его налево кругом и придал ему необ-

ходимую инерцию точным пинком в зад.

Через восемь минут на улицах Лондона продавался свежий номер "Аурли Таймс". Первая страница была украшена огромной шапкой:

"РЕПОРТЕР ГАЗЕТЫ "АУРЛИ ТАЙМС" ПОЛУЧАЕТ ПИНОК ОТ МИСТЕРА ДИКАРЯ. СЕНСАЦИЯ В СЕРРИ".

"Не только в Серри, но и в Лондоне сенсация", — подумал Примо Меллон, прочитав заголовок, и, почесывая все еще нывшую пятую точку, сел обедать.

Однако его печальный опыт не устрашил бравых коллег, и в тот же день к маяку явилось еще четверо настырных репортеров — от американских газет "Нью-Йорк Таймс" и "Фор- диан Сайенс Монитор", от континентальной "Франкфуртер Перзонлихе" и от лондонской "Дельта Миррор". Каждого следующего репортера Дикарь встречал с возрастающей враждебностью и все более яростным рукоприкладством.

— Из высшей касты, а дурак! — кричал с безопасного расстояния, потирая ягодицы, репортер "Фордиан Сайенс Монитор". — Почему ты не принимаешь сому?

— Убирайся к чертовой матери! — завопил Дикарь, грозя репортеру кулаком.

Репортер отступил еще на несколько шагов, потом обернулся.

— Сома — снадобье от всех болезней! — выкрикнул он. — Нет на свете ничего полезней! С сомой нет ни бед, ни зла, с сомой жизнь всегда мила!

— Кохаква инастокьяй! — угрожающе заорал Дикарь.

— Тому, кто сому принимает, вовеки больно не бывает...

— Ах, ты так думаешь? — спросил Дикарь и, схватив тяжелую дубину, ринулся вперед.

Репортер во весь опор бросился к своему вертолету.

После этого Дикаря ненадолго оставили в покое. Однако через некоторое время над маяком снова закружилось несколько вертолетов с зеваками. Дикарь выстрелил в один из вертолетов из лука; стрела пробила алюминиевое днище кабины, оттуда раздался истошный визг, и машина взвилась в воздух и ринулась прочь со всей скоростью, на какую была способна. После этого другие вертолеты отлетели на почтительное расстояние. Не обращая на них внимания, Дикарь принялся истово трудиться в своем огородике. Покружившись немного над маяком и наскучив смотреть на человека, который монотонно занимался од-

ним и тем же скучным делом, любопытствующие один за другим развернули свои вертолеты и улетели, и потом несколько часов в небе было тихо, если не считать трелей жаворонков.

День стоял жаркий, безветренный, в воздухе парило, пахло грозой. Дикарь устал и лег отдохнуть на полу маяка. И неожиданно у него в воображении, словно живая, возникла Ленина — обнаженная, доступная, в одних лишь туфлях и носках, пахнущая своими нежными духами, зовущая: "Красавчик! Обними меня!" Грязная блудница! Но-о! Ее руки, обвившие его шею, ее крепкие груди, ее рот!.. "В очах, в устах у нас скрывалась вечность...". Ленина!.. Нет, нет, нет, нет! Дикарь вскочил на ноги и, как был, полуодетый, бросился прочь из маяка. Неподалеку от маяка кучились заросли можжевельника; и Дикарь нырнул прямо в гущу кустов и стал хватать руками и обнимать — нет, не нежное тело своих грез, а зеленые колючки. Тысячами острых иголок шипы впивались ему в кожу. Он пытался думать о бедной Линде, безжизненной, бездыханной, со стиснутыми руками и безмолвным ужасом в глазах, — о бедной Линде, которую он поклялся помнить вечно. И все же Линда в его воображении тускнела и расплывалась, а плоть

и кровь об ретала Ленина, которую он поклялся забыть. И в то самое время, когда его жалили шипы можжевельника, его плоть ощущала тело Ленины — такой реальной, такой неистребимо живой... "Дорогой! Дорогой! Ну, почему же ты мне раньше не сказал?"

Хлыст висел на гвозде подле двери. Дикарь побежал к маяку, схватил хлыст, раскружил. Ремень впился ему в тело...

— Блудница! Блудница! — кричал он при каждом ударе, словно он бичевал не себя, а Ленину (и как страстно, не отдавая себе в этом отчета, жаждал он, чтобы она была сейчас здесь!) — белокожую, теплую, распутную Ленину.

— Блудница! — еще раз прорычал он, а затем в его голосе послышались рыдания отчаяния. — О Линда! Прости меня! Прости меня, Боже! Я греховен! Я нечестив! Я... Нет, нет, нет! Блудница! Блудница! Блудница!

А в это время в рощице в трехстах метрах от маяка, в тщательно замаскированном убежище, сидел человек, вооруженный полевым биноклем, и внимательно наблюдал за Дикарем. Это был Дарвин Бонапарт, наиболее опытный оператор Корпорации Чувствилища. Он прославился своими искусными съемками животного мира,

сделанными с большого расстояния при помощи телеобъективов. Сейчас он хотел снять чувствилищный фильм о Дикаре. Три дня он провел, сидя в искусственном дупле искусственного дуба, три ночи он ползал на животе по вереску, пряча и камуфлируя микрофоны в кустах вокруг маяка и зарывая в землю провода. Семьдесят два часа ужасных неудобств, чтобы не сказать мучений! Но теперь, наконец-то, терпение и искусство Дарвина Бонапарта были достойно вознаграждены: настал его звездный час — более великий час, чем тот, когда он снял свое стереоскопическое рыковое чувствилище под названием "Свадьба горилл" — чувствилище, завоевавшее всемирную славу. "Великолепно! — подумал Дарвин Бонапарт, снимая уникальное представление, исполняемое Дикарем. — Великолепно!" Он быстро и умело манипулировал своими съемочными аппаратами, снимал крупным планом лицо Дикаря, искаженное гримасой экстаза и боли ("Восхитительно!"), делал общие планы ("Как он смешно извивается!"), переходил на замедленную съемку ("Это даст потрясающий комический эффект!"), прислушивался к стонам и выкрикам, регистрируемым звукозаписывающей аппаратурой, и предвкушал тактильные эффекты, воспроизводи-

мые чувствительными сенсорными приборами. "Ну, ну повернись спиной, чтобы можно было зафиксировать крупным планом кровь у тебя на спине!" — возбужденно прошептал Дарвин Бонапарт; и в ту же минуту, словно между душами этих двух столь непохожих людей текли какие-то мистические флюиды, Дикарь повернулся к камерам спиной ("Какая удача!"), и Дарвину Бонапарту удалось сделать феноменальный кадр крупным планом.

— Да, это было просто сверх всяких ожиданий! — сказал себе, отдуваясь, Дарвин Бонапарт, когда все было кончено. — Я создал великое произведение чувствилищного искусства!

Он вытер платком покрытое потом лицо. Да, это действительно будет гениальное чувствилище! Почти столь же гениальное, как "Половая жизнь кашалотов" — признанный и пока не превзойденный шедевр.

Через двенадцать дней чувствилищный фильм Дарвина Бонапарта "Серрейский Дикарь" был смонтирован и начал свое триумфальное шествие по залам Западной Европы.

Фильм Дарвина Бонапарта посеял ветер, и Дикарю сразу же пришлось пожать даже не бурю, а чудовищной силы ураган. На следующее же утро

после лондонской премьеры фильма сельскую тишину серрейских пустошей нарушило жужжание сотен вертолетов.

Дикарь возился в своем огородике, когда услышал в воздухе приближающийся гул. Гул нарастал, и внезапно Дикарь оказался в тени: что-то застило ему свет. Дикарь взглянул вверх, недоумевая, что отвлекло его от работы и от размышлений, — озабоченно взглянул вверх и обнаружил, что над ним роятся полчища летающих машин. Они налетели, как саранча, и застыли в воздухе, неподвижно повисли чуть ли не впритык друг к другу — повисли черной тучей, заслонив солнце. Затем эти гигантские кузнечики стали один за другим опускаться на землю, и из чрева каждого из них извергались парами мужчины в белых костюмах из вискозной фланели (ибо день был жаркий) и женщины в пижамах из ацетатного шелка или в вельветовых шортах. Еще десять минут назад Дикарь был один-одинешенек на всей равнине— и вот вокруг маяка стояли кольцом десятки людей, смеющихся, глазеющих, щелкающих фотоаппаратами, жующих резинку с половыми гормонами, пьющих гландулярное пиво. И каждую минуту число их росло: над Свиной Спиной непрерывным по-

током двигались все новые и новые вертолеты. Как в кошмарном сне, десятки превращались в сотни, а сотни грозили превратиться в тысячи.

Дикарь поспешно отступил в здание маяка и оттуда, как затравленный зверь, вглядывался с безмолвным ужасом в окружавшие его бесчисленные лица; ему казалось, что он сходит с ума.

Из оцепенения его вывел брошенный кем-то пакетик жевательной резинки. Удар, легкая боль — и Дикарь очнулся, в нем поднялся гнев.

— Убирайтесь! — проревел он.

Обезьяна заговорила; в ответ раздался взрыв хохота и рукоплесканий.

— Старина Дикарь! Валяй, толкни речь! Ура! Ура! — понеслось из толпы.

И сквозь вой прорвались отдельные крики:

— Хлыстом себя! Хлыстом! Хлыстом!

Словно подчиняясь, Дикарь сдернул с гвоздя хлыст и грозно поднял его, готовый ринуться и начать стегать своих обидчиков. Толпа снова разразилась хохотом и рукоплесканиями.

Дикарь угрожающе двинулся на толпу. Какая-то женщина истерически вскрикнула. Толпа дрогнула было, но осталась на месте. Численное превосходство придало им всем уверенности и смелости, чего Дикарь не ожидал. Он остановился

и оглянулся вокруг.

— Почему вы не можете оставить меня в покое? — спросил он почти умоляющим тоном.

— Вот, хотите миндаля с солями магния? — сказал мужчина, которого Дикарь атаковал бы раньше других, если бы решился начать атаку. — Вы не пробовали? Это, правда ужасно вкусно. А, к тому же, соли магния очень полезны для здоровья.

Дикарь пренебрег его предложением.

— Чего вам от меня нужно? Чего вам от меня нужно? — спрашивал он, поворачиваясь от одного расплывающегося лица к другому. — Чего вам от меня нужно?

— Хлыстом! Хлыстом! — закричали из толпы. — Выпори себя хлыстом! Покажи, как ты дерешь себя хлыстом!

А затем вся толпа стала скандировать:

— Да-ешь-хлыст! Да-ешь-хлыст! Да-ешь-хлыст! Да-ешь- хл ыст!

Толпа раскачивалась в такт собственным крикам и повторяла одни и те же слова снова и снова: казалось, они готовы повторять так до бесконечности. Но примерно на двадцать пятом повторении скандирование неожиданно было прервано. Через Свиную Спину перелетел еще

один вертолет. Приблизившись, он на несколько мгновений застыл над маяком, а потом опустился буквально в нескольких метрах от Дикаря. Рев пропеллера заглушил было крики; но, когда мотор заглох, слова "Да-ешь-хлыст!" снова отдельными возгласами вспыхнули то тут, то там в толпе и, подхваченные всеми, опять стали повторяться с громкой, неутомимой монотонностью.

Дверца вертолета распахнулась, и из его чрева вышел сначала краснолицый юноша, а за ним — в зеленых вельветовых шортах, белой блузке и жокейской шапочке — молодая женщина.

При виде женщины Дикарь отшатнулся и смертельно побледнел.

Женщина помедлила, а затем улыбнулась Дикарю — улыбнулась неопределенной, умоляющей, почти жалкой улыбкой. Прошло несколько секунд. Губы женщины зашевелились, она начала что-то говорить; но ее голос тонул в оглушительном рефрене, снова и снова повторяемом толпой:

— Да-ешь-хлыст! Да-ешь-хлыст!

Молодая женщина прижала руки к груди, в лице ее появилось какое-то странное выражение — смесь желания и боли. Ее голубые глаза округлились, сделались больше, засверкали ярче; и

неожиданно по ее щекам заструились слезы. Она снова попыталась заговорить, но безуспешно. Тогда быстрым, страстным жестом она протянула к Дикарю руки и сделала шаг вперед.

— Да-ешь-хлыст! Да-ешь-хлыст!

И неожиданно толпа получила то, чего хотела.

— Блудница! — заревел Дикарь и бросился на женщину. — Грязная кобыла! Обиталище чертей!

И, как безумный, он стал полосовать ее хлыстом.

В ужасе она попыталась бежать, но споткнулась и упала среди вереска.

— Генри! Генри! — закричала она.

Но ее розовощекий спутник благоразумно спрятался за вертолетом, подальше от опасности.

Четкая до сих пор линия толпы дрогнула и рассыпалась; в радостном возбуждении люди сгрудились кольцом вокруг Дикаря и его жертвы; задние пытались расталкивать локтями передних, чтобы самим пробраться поближе к захватывающему зрелищу.

— Ад, тьма, гибельная бездна! — вопил Дикарь, опуская и опуская хлыст. — Муки, смрад и смерть!

Толпа плотно обступила его, хрюкая от удо-

вольствия, как стадо свиней.

— О, плоть! — кричал Дикарь, скрежеща зубами; он уже оставил в покое свою беззащитную жертву и яростно бичевал собственную спину. — Смерть! Смерть!

И толпа, возбужденная зрелищем, завороженная ужасом боли, повинуясь обретенной сызмальства привычке подражать и действовать сообща — привычке, которая неискоренимо въелась в каждого за долгие годы программированного человеководческого воспитания, — толпа неожиданно начала подражать Дикарю: лощеные мужчины и женщины, прилетевшие поглядеть на диковинный спектакль — как человек занимается самобичеванием, — начали чем попало хлестать один другого, и каждый удар хлыста, вонзавшегося в кожу Дикаря, отзывался сотнями ударов, которыми осыпали друг друга его зрители.

— Смерть! Смерть! — в остервенении орал Дикарь.

Тут кто-то из толпы затянул песню "Орды оргий", и через несколько секунд все подхватили припев, и постепенно то одна, то другая группа стала кружиться в бешеной, трясущейся пляске. "Орды оргий!" Все завертелись в безумном хоро-

воде, отбивая каблуками бешеный ритм песни; они орали, размахивали руками, тряслись, раскачивались и извивались, точно в падучей. Сотни — как Один! Сотни — как Один! "Орды оргий!"

...Когда последний вертолет взлетел в воздух, было уже за полночь. Одурманенный сомой, совершенно обессилевший, Дикарь спал в вереске. Он проснулся лишь тогда, когда солнце стояло уже высоко в небе. Он полежал с минуту, моргая и медленно приходя в сознание. Затем он вдруг вспомнил — вспомнил все.

— О Боже! Боже! — простонал он и закрыл лицо руками.

За полдень около маяка снова стали опускаться вертолеты. На этот раз они растянулись длинной черной тучей длиной в добрых десять километров. Описание вчерашней оргии искупления было во всех сегодняшних газетах.

— Дикарь! — закричали первые прибывшие, вылезая из вертолетов. — Мистер Дикарь!

Ответа не последовало.

Дверь здания маяка была открыта настежь. Кто-то толкнул ее и вошел в полумрак. Через дверной проем были видны в другой комнате нижние ступеньки лестницы, которая вела наверх. А под аркой проема болталась в воздухе пара ног.

— Мистер Дикарь!

Медленно, очень медленно, как две неторопливые стрелки компаса, ноги повернулись вправо — к северу, потом к северо-востоку, потом к востоку, потом к юго-востоку, потом к югу, потом к юго-западу; а потом, помедлив секунду, они начали неспешное кружение назад — к юго-западу, к югу, к юго-востоку, к востоку...

Перевел с английского Георгий Бен